



Алексей Варламов

Лауреат премий
«Большая книга»,
«Студенческий Букер»

Душа моя

Роман
взросления

18+

Павел

Проза Алексея Варламова

Алексей Варламов

Душа моя Павел

«Издательство АСТ»

2018

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Варламов А. Н.

Душа моя Павел / А. Н. Варламов — «Издательство АСТ»,
2018 — (Проза Алексея Варламова)

ISBN 978-5-17-107610-8

Алексей Варламов – прозаик, филолог, автор нескольких биографий писателей, а также романов, среди которых «Мысленный волк». Лауреат премии Александра Солженицына, премий «Большая книга» и «Студенческий Букер». 1980 год. Вместо обещанного коммунизма в СССР – Олимпиада, и никто ни во что не верит. Ни уже – в Советскую власть, ни еще – в ее крах. Главный герой романа «Душа моя Павел» – исключение. Он – верит. Наивный и мечтательный, идейный комсомолец, Паша Непомилуев приезжает в Москву из закрытого секретного городка, где идиллические описания жизни из советских газет – реальность. Он чудом поступает в университет, но вместо лекций попадает «на картошку», где интеллектуалы-старшекурсники открывают ему глаза на многое из жизни большой страны, которую он любит, но почти не знает. Роман воспитания, роман взросления о первом столкновении с реальной жизнью, о мужестве подвергнуть свои убеждения сомнению и отстоять их перед другими.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-107610-8

© Варламов А. Н., 2018
© Издательство АСТ, 2018

Содержание

Проходной балл	6
Мечтателен и глуп	6
Братство непоступивших	9
Нянечка	11
Всё по-честному	14
Апелляция	16
Пашино сочинение	19
Произвол	21
Тубус, святцы и антисемит	23
Пролетные гуси	26
Кубик Рубика	30
Судья всегда прав	34
Шпана электроугольская	37
Драка	39
И тогда ты меня полюбишь?	42
Политэкономия социализма	47
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Алексей Николаевич Варламов

Душа моя Павел

© Варламов А.Н.

© ООО «Издательство АСТ»

Проходной балл

Мечтателен и глуп

Павлик Непомилуев, малообразованный рослый юноша с обильными прыщами на пухлом беззаботном лице, томился в очереди за документами, которые месяцем ранее сдавал в приемную комиссию филфака МГУ. Очередь была разнолика, невесела, тревожна, и косолапый, одетый в новенький коричневый костюм с золотыми пуговками Павлик казался случайно затесавшимся в нее человеком. Он не выглядел ни подавленным, ни делано равнодушным; поначалу терпеливо стоял и глазел по сторонам, ковырял в носу, сморкался, что-то бормотал, напевал, но не потому что нервничал или таился, а потому что долго стоять на одном месте Непомилуеву было скучно и к очередям он не привык. Со стороны это всё выглядело чудновато. Так ведут себя плохо воспитанные дети, записанные на прием к врачу или при поступлении в школу, но никак не в лучший университет страны, однако Павлик смотреть на себя извне не умел, зато с любопытством рассматривал несчастных абитуриентов и их родителей. Очередь двигалась неспешно, точно каждый в ней еще надеялся, что произошло недоразумение и за дверями случится чудо, там одумаются, извинятся и исправят ошибку. Но чудра не происходило. Мальчики и девочки выходили, ни на кого не глядя, понурые, постаревшие. Это было их первое жизненное поражение, удар по самолюбию, крушение надежд, утрата веры в себя, страшное чувство одиночества, вины и несправедливости, которое закалит или сломает, но рубец от него останется навсегда. Павлик с нежностью смотрел на своих братьев и сестер и думал о том, что если бы мог, то обнял и утешил бы каждого, с кем провел как в бреду четыре вступительных экзамена; но Пашины товарищи по несчастью торопились скорее уйти, и Непомилуеву было грустно осознавать, что больше он их не увидит. Он и поступить в университет хотел не только для того, чтобы в нем учиться, а чтобы оказаться среди хороших людей и с ними подружиться, он о студенческой жизни мечтал, и за себя ему обидно не было. Что ж, не поступил, и не поступил, а вот ребят было жаль. Кому-то не хватило двух баллов, кому-то – одного, а кто-то и вовсе недотянул совсем чуть-чуть.

«Если бы это зависело от меня, – подумал Павлик, – я бы организовал две команды – поступивших и не поступивших. И пусть бы они соревновались, и неизвестно, кто еще победил бы».

Когда Павлушина очередь приблизилась, он отошел в самый конец, чтобы подольше побыть на девятом этаже: ему нравилось находиться среди этих замечательных молодых людей, а самому ему идти было некуда, и ехать домой он не торопился, потому что никто его дома не ждал.

Павликов дом находился далеко от Москвы, в городе, который не значился в справочниках и расписаниях, хотя железная дорога к нему вела – каждый день приходил секретный пассажирский поезд и несть числа грузовых составов. Там был построен экспериментальный аэродром, и несколько раз в неделю садились необъявленные гражданские самолеты из московского аэропорта Быково и военные борта из неведомых мест. Сам город и примыкавшую к нему большую, заросшую смешанным лесом территорию окружали по всему периметру контрольно-следовая полоса и высокий бетонный забор с тремя рядами колючей проволоки, а название его менялось так часто, что жители не успевали за этими переименованиями следить и звали между собой Пятисотым по имени большого подземного завода, где почти все и работали. Они вообще были особенные люди. Долгие годы их никуда за стену не выпускали, если только не случалось какого-нибудь несчастья – например, умирала у человека мать. А вот если умирал отец, то хоронить отца не отпускали. Потом разрешать выезжать нехотя стали,

но под угрозой самого ужасного наказания жители Пятисотого не имели права никому, даже самым близким родственникам, рассказывать о том, где живут и работают. А самым страшным наказанием стало бы для них изгнание, потому что жилось в таинственном городе так хорошо, как, наверное, нигде в прекрасной Пашиной стороне. В этом городе было не страшно ходить по улицам и днем и ночью, родители повсюду отпускали детей и никто не закрывал двери на ключ, а жили каждый в своей квартире и что такое общая кухня – не знали; магазины в Пятисотом изобиловали продуктами и товарами, которых за стеной не видали; здесь были просторные чистые улицы и бульвары, прекрасные школы, библиотеки, бассейны, спортивные залы, во Дворце науки выступали умнейшие люди и проходили великолепные любительские концерты. Это было едва ли не самое сытое и благоустроенное место во всем СССР, но Павлик этой сытости и устроенности ценить не умел и любил большую, неведомую ему страну сильнее, чем свою секретную родину, потому что в его годы всё дальше кажется милее и привлекательнее ближнего.

Он был с малых лет мечтателен и глуп и на стене у себя повесил физическую карту Советского Союза, которую мысленно исходил и изъездил, по-хозяйски размышляя о богатствах ее недр, любуясь и гордясь красотой и протяженностью ее напряженных границ, переливами зеленого равнинного и горного красного цвета от запада к востоку и от севера к югу, голубизной ее великих озер и внутренних морей, извивами вольных рек, изрезанными линиями океанского побережья, причудливыми цепочками островов, полярными льдами, пустынями, солончаками, архипелагами и полуостровами; ему нравилось вглядываться в маленькие цифры, обозначающие высоту ее снежных пиков и вулканов, глубину морских и озерных впадин, он любил все ее города, поселки, села и деревни и однажды попросил отца:

- А покажи мне наш город на карте.
- Его там нет, – ответил лейтенант.
- Как это так? – удивился Павлик.
- Никто не должен о нашем городе знать.
- А почему?
- Потому что наш город – это самое важное, что есть в нашей стране.
- Важнее, чем Ленинград?
- Важнее.
- Главнее, чем Москва?

– Главнее, сын, – сказал отец очень серьезно, и мальчик догадался, что больше ни о чем спрашивать нельзя. Ни отца, ни тем более кого-нибудь другого. И если он слышал в дальнейшем непонятные вещи, то, как ни томило ребенка природное любопытство, он молчал, отчего его внутреннее недоумение, смешанное с гордостью, скапливалось в душе как особенный материал.

«И всё-таки странно, – думал Павлик. – Как может быть на свете то, чего нет на карте? А может быть, нашего города просто не существует?» Просыпаясь, он первым делом подбегал к окну проверить: всё ли в городе на месте? Но ничто не исчезало: ни заповедный лес, где зимой катались на лыжах, а летом просто гуляли, но ягоды и грибы не собирали; ни красивое искусственное озеро, на которое можно было бесконечно смотреть, но ни купаться, ни ловить рыбу в нем не разрешали; ни разноцветные двухэтажные и одноэтажные домики, в которых жили инженеры и ученые; ни стадион, а еще дальше, если поднять глаза, – тайга и темные горы на горизонте. Всё было на месте, и только на карте не значилось ничего, но иногда над городом зависали светящиеся шары оранжевого цвета, и в такие ночи отец не возвращался домой.

Когда Павлик подростом, он стал украдкой ходить к стене, ища в ней бреши, но стена была построена надежно, как и всё, что в Пятисотом делалось. Глядя на нее, Павлуша испытывал странное чувство тревоги, стесненности и острого, непонятного томления: что там, сразу за бетонной оградой?

– Да ничего там интересного нету, – привычно отвечала мать, покуда не умерла: в Пяти-
сотом порой случалось, что скоропостижно умирали совсем не старые женщины, и после вни-
мательного исследования их хоронили в закрытых гробах. – Так же люди живут, только дольше
и скучнее, чем мы.

Братство непоступивших

После двенадцати лет Павлушу стали вывозить вместе с другими детьми к далекому южному морю. Оно немного нравилось ему своим запахом, меняющимся цветом и той волнующей, иногда четкой, а иногда размытой линией на горизонте, где из воды возникало небо, но еще больше Павлик любил долгую дорогу через половину страны, и, хотя большинство детей ею тяготилось и изнывало от замкнутости пространства и однообразия железнодорожных впечатлений, Непомилуев принимался томиться тогда, когда путешествие заканчивалось, и все дни на берегу скоро наскучивавшего водного пространства ожидал дороги назад. В поезде он выучивал наизусть расписание, и названия больших и малых городов, через которые они проезжали, кружили ему голову, он не отходил от окна, просыпался ночами на больших станциях и мечтал сойти и затеряться где-нибудь на дорогах великой страны.

«Почему мы ездим только к южному морю? – думал Павлик. – А есть еще северные моря, и западные, и восточные». Они манили его все, и больше всего Непомилуев боялся, что однажды стена затворится. Будучи мальчиком скрытным, он никому об этом страхе не рассказывал, кроме одного худо одетого светловолосого паренька с оттопыренными ушами, своего соседа по общежитию, который поступал на факультет словесности. Паренек был дальним Пашиным земляком и о Пятисотом кое-что слышал.

– Это у тебя, наверное, клаустрофобия, – рассудил он. – А у нас, наоборот, все мечтают за вашу стену попасть. Хотя бы одним глазком поглядеть.

– Зачем? – насторожился Павлик, которого, как и всех жителей, с детства учили быть начеку, потому что в город стремятся проникнуть шпионы и диверсанты.

– У вас же там коммунизм, – ответил паренек простодушно. На лазутчика он никак не походил, хотя, может быть, именно такие непохожие, лопоухие и были настоящими диверсантами.

– А у вас? – спросил Павлик.

– А у нас очереди за молоком. Говорят, мы потому и голодаем, что вы хорошо живете.

– А у нас – наоборот, – частично разоружился перед земляком Непомилуев. – Что мы всех защищаем и когда начнется война, то самыми первыми погибнем, но ответить успеем, а вы за нас дальше жить будете.

– И то, наверное, правда, и это, – заключил паренек философски.

Поступил он или не поступил, Павлик не ведал, но теперь захотел его разыскать, однако в очереди сказали, что никакого факультета словесности в университете нет, а есть обычный филологический факультет – тот самый, на который Павлик недобрал нужное количество баллов, и вообще без репетиторов и без блата поступить на филфак невозможно, нечего и соваться, да и репетитора надо еще уметь найти такого, чтобы он же у тебя экзамены принимал, а за таких репетиторов нужно сумасшедшие деньги выкладывать, но при этом гарантии тебе всё равно никто не даст. А факультет словесности вроде бы когда-то был, но давно закрыт или переведен в другое место.

Павлик вспомнил, что земляк говорил про двенадцатый этаж, но в некрасивом стеклянном здании, выходившем торцом на шумный проспект, оказалось лишь одиннадцать этажей. Непомилуев подумал о том, что двенадцатый этаж, наверное, такой же секретный, как его родной город, и, возможно, находится, чтобы никто не догадался, внизу, однако в подвале не было ничего, кроме толстых труб, технических комнат, складских помещений и большого продолговатого зала с пыльными матами, в котором Павлик не без труда опознал тир и удивился, зачем он здесь, для какой нужды – или, может быть, это и есть факультет словесности? Над последним же этажом располагалась плоская крыша, куда мальчик поднялся по чердачной лестнице через незакрытую дверь. Отсюда хорошо была видна хаотичная Москва, далекие башни Кремля и

высокие, неизвестные ему дома, а еще ближе угадывалась за лиственными деревьями изви-листая, несмотря на свою ширину, река и стадион, где только что отгрохотала великолепная Олимпиада, из-за которой были сдвинуты на сентябрь вступительные экзамены и начало учебного года.

Павлик с любопытством посмотрел на не пожелавший принять его город, на главное здание университета и разбросанные вокруг корпуса, точно стремясь навсегда всё это запомнить, прежде чем навсегда уйти. Решение, что делать, так долго томившее его, наконец пришло: отправиться пешком куда глаза глядят по долгим проселочным дорогам СССР, стараясь придерживаться южной стороны, и там где-нибудь перезимовать, как зимуют перелетные птицы, а по весне потянуться обратно на север, и, как знать, возможно, где-то на этих пыльных дорогах ему подвернется родственная душа и он примется скитаться с другом или с подружкой, потому что нехорошо человеку быть одному. А потом к ним присоединится кто-то еще, и так они создадут свое бродячее братство непоступивших, свой маленький пеший университет, куда будут принимать всех, и никакие стены не станут их окружать, потому что настоящему университету заборы не нужны. И тогда они все вместе придумают что-нибудь очень хорошее для большой страны, чтобы она стала такой же прекрасной для жизни, как Павлушин коммунистический город, и никто бы в ней не жаловался на очереди за молоком.

С ближних гор задул злой ветер, разгоняя Павликовы дурацкие мысли, и мальчику пришлось ухватиться руками за стенку вентиляционной шахты, чтоб не упасть. Спускаясь, он плотно закрыл дверь: вдруг кто-нибудь из легких нервозных абитуриентов в расстроенной очереди тоже вздумает подняться на ветреную крышу и от печали у девушки закружится голова.

Нянечка

Когда Павлик вернулся к аудитории, там никого не было, а на приколотом к двери листке бумаги было написано размашистым почерком: «ОБЪДЪ».

На мгновение он забылся и перестал себя ощущать. Его мучил голод, а странным образом написанное слово это острое чувство подстегивало, однако Павлик не уходил, то ли дразня себя несбывшейся судьбой, то ли мечтая забрать скорее несчастный школьный аттестат с убогим средним баллом и медицинскую справку по форме 086 и пуститься в путь, но помимо этого возникло что-то третье, ему самому непонятное, появившееся в его жизни не так давно, и чудилось Павлуше, будто кто-то настойчиво говорил ему: стой и жди, стой и жди...

– Чего стоишь, проходи. – Седая женщина в темном халате, в очках с крупными линзами, похожая на нянечку или старенькую медсестру, недовольно толкнула перед ним дверь. – Здесь пока посиди.

В ней было что-то кроличье. Наверное, у нее было много детей и внуков. Павлик поначалу напрягся, но почувствовал, что женщина опасности не представляет. «Техничка какая-нибудь», – подумал он рассеянно. На Павлика женщина не смотрела, как если бы его здесь не было. Она поливала цветы, что-то приговаривала, и он почувствовал к ней симпатию.

«Сейчас пыль с меня вытрет или польет», – подумал он и хмыкнул.

– Что ж ты, батюшко, к экзаменам-то не подготовился? – не отрываясь от цветов, спросила женщина певучим, неожиданно молодым голосом. – На тебя так рассчитывали, надеялись.

– Кто рассчитывал?

– Профессоры всякие рассчитывали, доценты, преподаватели. Всем хотелось такого молодца учить. Экзамены перенесли, чтобы побольше времени тебе дать. А ты взял и всех подвел. А зачем подвел?

– Я готовился, – возразил Павлик горячо и заморгал короткими редкими ресницами. – Я целых пять месяцев готовился.

– Пять месяцев. Сюда годами готовятся, – произнесла нянечка нравоучительно. – И которые хорошо готовятся, те и экзамены хорошо сдают. А что тебе говорят, тому дак не верь. Ты откуда сам-то?

– Из Обдорска.

Им велели рассказывать про Обдорск, когда они куда-нибудь выезжали, и даже названия обдорских улиц и вымышленные адреса заставляли выучивать, и Павлик иногда думал, что будет, если он повстречает настоящего обдорчанина, который легко поймает его на лжи?

– Знаю я этот ваш Обдорск, – буркнула старушка, – оттуда все больше на хвизику да на химью поступают. А не сюда идуть. А ты пошто пошел?

– Да я не собирался вовсе. То есть не совсем так, я собирался, мечтал, но отец был против. – Павлик и сам не понял, зачем и почему это говорит, но нянечка была такая милая, простодушная, что Непомилуеву захотелось рассказать ей, как его отец, служивший в спецчасти, охранявшей Пятисотый и его подземные сокровища (впрочем, об этом он в любом случае умолчал бы), мечтал, чтобы сын стал офицером, на худой конец шел в научники или инженеры, а словесность, литература – всё это было несерьезное, баловство, к которому капитан относился с таким же раздражением, как к неряшливым новобранцам, и, если бы ему напомнили, что всё зло в мире идет от книг, он немедленно с этим согласился бы. Не сжечь, так по крайней мере убрать большую часть из них с глаз долой.

Павлик так не думал, Павлик читал, сколько себя помнил, а когда в комнате тушили свет, доставал фонарик и читал под одеялом; он брал книги в библиотеке, просил у друзей, читал всё подряд, без разбору, жадно, догадываясь, что не бывает книг плохих и хороших, для него хороши были все. Не целиком, а какой-то своей частью. У кого-то эта часть была больше, у

кого-то меньше, но Павлуша умел пропускать неважное и сосредоточиваться на главном. Ему книги дополняли, расцвечивали жизнь, он ими болел, уносясь в мечты и с трудом вываливаясь в реальность, а потому был страшно рассеян, неаккуратен и приносил из школы двойки и тройки по всем предметам, включая и литературу, ибо всё, что он страстно рассказывал на любимом уроке или писал в классных и домашних сочинениях, почему-то лишь раздражало его красивую темноглазую учительницу, возвращавшую глупому мальчику тетради, в которых красного и перечеркнутого было больше, чем синего.

– Анализировать тексты надо, понимаешь? Знать, к какому литературному направлению произведение принадлежит и почему. Разбирать художественные приемы, называть выразительные средства, характеризовать систему образов, композицию, жанр, сюжет, конфликт, – страстно перечисляла она важные слова, от которых Павлику делалось скучно и тоскливо, – а не мысли свои, Непомилуев, глупые и безграмотные рассусоливать, которые никому не нужны и не интересны. И пиши ты, бога ради, покороче, у меня от твоих ошибок в глазах рябит.

Учительница была еще молодой, но уже достаточно опытной, проверенной и заслуженной, она выписывала журнал «Литература в школе» и очень ценила место своей работы, куда так трудно было с большой земли, или с материка, как говорили в Пятисотом, попасть, а мысливший чересчур буквально ребенок никак не мог взять в толк, где же тогда проходит граница между его родным городом и материком, если город на материке, а не на острове находился. Вообще-то, поскольку его так сильно занимало пространство, то, наверное, лучше ему было бы сделаться географом и отправляться в далекие экспедиции, открывать новые земли, моря и острова, но больше географических карт он любил литературу, которая в лице чудесной Александры Кузьминичны, увы, не отвечала ему взаимностью. Зато учительницу весьма ценили родители других учеников, сама же она гордилась тем, как прекрасно писали сочинения по литературе на вступительных экзаменах ее выпускники, успешно поступавшие, по справедливому замечанию разговорчивой нянечки, на физический и химический, а также механико-математический факультеты университета и в другие замечательные институты Москвы, Ленинграда, Горького, Свердловска, Челябинска, Томска, Новосибирска, Красноярска и Иркутска, так что председателям приемных комиссий не приходилось упрашивать капризных экзаменаторов-филологов быть снисходительными к будущим светилам науки, прощая им либо исправляя в тексте недостающие и лишние запятые или перевранные цитаты: пятисотые всё умели писать сами. И только Павлуше ее уроки и методические разработки, ее умные наставления, как правильно составить план и написать точно по теме («Точность и доказательность – вот что самое важное в сочинении по литературе. Его надо решать как задачу», – объясняла она технарям, и в их глазах зажигался родственный огонь понимания), впрямь не шли, и, как однажды объявила она публично на родительском собрании Павликову папе, беда не в том, что сын у него тупой, а в том, что он в принципе необучаемый.

Непомилуев-старший не стал Непомилуеву-младшему эти неласковые слова передавать, приписав их обыкновенной вздорности женской натуры либо неустроенности личной учительской судьбы, прочие родители тоже повели себя благородно, и бестактный отзыв никаких душевных последствий для легкомысленного подростка не имел, но недовольная неподатливым учеником гордая женщина, должно быть, сильно удивилась бы и даже возмутилась, если бы узнала, что офицерский сынок, к которому она и без того относилась с некоторой пренебрежительностью, открыто предпочитая умных и любознательных детей из интеллигентных ученых семей, вдруг собирается поступать на тот самый факультет, куда когда-то не приняли ее, и честолюбивой девочке пришлось довольствоваться областным пединститутом. Однако Павлик был истинным жителем своего города. Он умел сочетать благодушие со скрытностью, беспечность с ответственностью, лишнего никогда не болтал, шифровался, личного дневника не вел, и только отсутствующее, счастливое, прыщавое лицо его глупую мечту выдавало и безмерно злило проницательного отца. Капитан с беспокойством смотрел на одурманенные крас-

ные глаза своего единственного сына, которого тайно любил больше всего на свете, опасаясь, что явная любовь может парня испортить, и мучительно переживал за каждое мгновение его юной, но уже такой нескладной жизни, и, когда сын опять, начитавшись непонятно каких расстрепанных книжек, выпадал из реальности в состояние полубоморока или транса, тряс его за плечи и бил по нечистым щекам:

– Очнись!

Павлику совсем не хотелось спускаться на землю, он даже в отдельных случаях дерзил и грубил в ответ и кричал, чтобы отец оставил его в покое, и тогда отец наказывал его молчанием. Павлуша это молчание тяжело переживал, но прощения не просил, так что взрослый человек уступал и мирился первым, и всё же никогда мальчик не пошел бы против воли родителя, но весной капитан погиб во время сотрясшей город аварии, и Павлик оказался предоставлен сам себе, как если бы стены и колючая проволока, его окружавшие, рухнули.

– В училище поступать станешь? – не спросил, а утвердил, почти что приказал начальник отца, полковник Передистов, на четвертый день после похорон. Павлик недоверчиво посмотрел на сухого, ладного человека с идеальным голым черепом и злыми бессонными глазами. Он догадывался, что Передистов знает о гибели отца нечто такое, что никому не рассказывает, но тайна отцовской смерти и запаянного гроба казалась такой мучительной, что Павлик не решался у него ничего спрашивать.

– Ладно, настаивать не стану. Невольник, говорят, не богомольник. Но скажи мне тогда: чего же ты хочешь? Я для тебя сделаю всё.

– Я на читателя хочу учиться.

На лице у полковника появилось недоумение.

– А зачем на него учиться? Может быть, ты хотел сказать «на писателя»?

– Нет, – торопливо возразил Павлик. – На писателя не хочу. Писатель должен учить людей, как жить, а я учить никого не сумею.

– А что же это за профессия такая – читатель? Кому ты нужен и чем будешь на хлеб зарабатывать?

– Не знаю, мне много не надо.

– Тебе, может быть, и не надо, а когда женишься?

– Я сначала хочу прочесть все книги.

– Книг на свете столько, – возразил Передистов, – что невозможно прочитать даже самую малость из них.

– А я буду стараться. А когда все книги кончатся, тогда я и стану сочинять новые, чтобы было чего читать.

Всё по-честному

Павлик сам не заметил, как его мысль выплеснулась в слово, и он начал говорить, потому что очень долго молчал после смерти отца, заставляя думать окружающих его людей, что он черствый и грубый мальчик, а это просто нежность, скопившаяся в его сердце, искала и нашла наконец выход.

Нянечка стояла и слушала его. Ее лица Павлик не видел, и, наверное, хорошо, что не видел. Во всяком случае, ему точно не надо было замечать, как старушка достала из ящика стола плоскую фляжку с золотистой жидкостью, которую при желании можно было принять за холодный чай, и, поморщившись, несколько раз из нее хлебнула.

– Лико-то, батюшко, как бывает, – вздохнула она и стала снова протирать пыль. Потом остановилась, задумалась, оглядела Павлика и строго спросила: – Прыщички пошто выдавли-вашь?

Павлика от ее слов в жар бросило, но нянечка не отводила светлых зорких глаз.

– Не выдавливай дак. А смазывай летом чистотелом. А в остальное время спиртом. Лимонным соком можно протирать. Либо морковным помогает. И острого старайся не есть. И копченого, и жирного. И спиртное ни-ни. Так-то вот, батюшко. Усвоил?

Павлик кивнул. С ней ему показалось не стыдно, легко, как будто женщина эта родней ему приходилась или он знает ее давным-давно. Комната была просторная, светлая, уютная, с книгами, с портретами неизвестных Паше людей – из такой комнаты никуда уходить не хотелось, и бородатые мужчины смотрели на мальчика скорее весело, чем укоризненно. Непомилуев с любопытством разглядывал их умные живые лица, и нянечка поймала его взгляд:

– Вот если поступил бы, тогда бы и узнал, кто это такие.

Она задумчиво посмотрела на портреты, точно спрашивала у них что-то, а потом принялась протирать пыль со стекол:

– А может, занизили тебе оценки, а? Или напутали? Такое тут случается иногда. Может быть, спрашивали, чего не положено? С этим ведь у них строго. Чему в школе не учили, спрашивать ни-ни, нельзя.

– Да вы не волнуйтесь, бабушка, – утешил ее Павлик. – Всё правильно спрашивали, по программе, и ничего не занижали. Просто у меня с ними непонимание случилось.

– Это как? – удивилась нянечка.

– Я им про книги, которые люблю, хотел рассказать. А они: не надо нам про любимые книги, ты, говорят, на вопросы в билете отвечай. А такие скучные вопросы у них в этих билетах.

– Скучные? – задумалась нянечка.

– Очень. Ну вот достался мне, например, вопрос про мотивы прозы Пушкина. Это что, по-вашему, интересно?

– А что ж тебе тогда интересно?

– Просто читать интересно.

– Просто читать... Ну и какие ты любишь книги?

– Какие люблю? – обрадовался ее любопытству Павлик. – Я разные люблю. Про войну люблю, про разведчиков, про путешествия, про героев, исторические мне нравятся. Толстые больше люблю, чем тонкие, потому что мне жалко, когда книги быстро кончаются.

– А последнее что, батюшко, из толстых прочитал? «Войну и мир»? «Анну Каренину»? Или «Братьев Карамазовых»?

– «Год жизни» и продолжение ее – «Дороги, которые мы выбираем» называется.

– Это кто ж такое сочинил? – заинтересовалась нянечка.

– А я и не помню.

– Как же это ты, миленький мой, не помнишь, если недавно читал? – подивилась старушка. – Ну а написано когда?

– Да какая мне разница, кто автор и когда написано? – загорячился Павлик. – Я на это вообще никогда внимания не обращаю. Главное, бабушка, чтобы книжка была хорошая. Чтобы чувство от нее в душе было. А кто написал – это дело десятое. А еще я им стихи хотел почитать, я много хороших стихов наизусть знаю, а они говорят, тебе в театральный надо с твоими данными поступать, а у нас только двойку можно поставить за ответ, да так и быть, пожалею, раз ты мальчик, только ты всё равно не поступишь, и не надейся.

– Так и сказали? – покачала головой добрая женщина.

– Ну.

– Беда-то какая. Совсем, стало быть, худо твое дело?

– Тут на экзаменах мальчикам оценки завышают, а девочкам занижают, – объяснил ей Непомилуев. – У нас в школе наоборот, однако, бывало.

– Хорошая, значит, у вас школа, – одобрила нянечка.

– Очень хорошая, – сказал Павлик благодарно и виновато добавил: – Учился я только в ней неважно.

– А вот это зря, – осудила нянечка. – Без науки кем ты станешь? Разве что дворником?

– А что стыдного в том, чтобы дворником быть? Вот вы же убираетесь тут, и ничего.

– Ну-ну, – пробормотала старушка. – Это ты верно, батюшко, подметил. А давай-ка всё ж полюбуемся на твои успехи, пока никого нетутко. Как фамилие-то твое, гришь?

Она присела к столу, сняла резиновые перчатки и стала листать его личное дело. Тонкое, с какими-то пометами. Павлик удивился, но ничего не сказал. Потом взяла его сочинение и принялась читать. Руки у нее были грубые, с коротко остриженными ногтями, но очень ловкие.

За дверью снова скопилось много народа, коридор ровно гудел, вошла раздраженная дама в синем костюме с блестками и остановилась на отдалении от нянечки, но та ее не заметила. А Павлик приметил сразу. Он эту даму помнил, потому что это она страшила абитуриентов перед экзаменами, только костюм на ней был тогда бордовый, но тоже с блестками, а глаза сердитые-пресердитые.

– Если увижу на сочинении, что кто-нибудь голову повернет к соседу, выгоню обоих без предупреждения.

И после ее слов спортивный зал, где поставили столы, потому что аудиторий на всех не хватило, и Павлик сидел в середине этого зала и тарашился на баскетбольное кольцо один на один с проштампованными листами бумаги, превратился для него в кошмар. Он боялся писать, боялся ошибиться, боялся не успеть написать за четыре часа и потому делал всё то, чего делать ни в коем случае нельзя. Выбрал одну тему, потом через час другую, не дописал до конца. А потом беспокойная девочка с русалочьими волосами и бессонными красными глазами, сидевшая прямо перед ним и всё это время безостановочно водившая левой рукой, вдруг вскочила с места, порвала свои листки и выбежала из аудитории. Павлик едва удержался от того, чтобы не броситься за ней следом. И писать ему совсем расхотелось.

А нянечка меж тем читала его каракули. Хмыкала. В одном месте улыбнулась, потом рассердилась. И чем больше читала, тем больше было на ее лице недовольства. Павлику стало не по себе. Ему казалось, что все его мучения кончились, а они только начинались. Он приготовился к тому, что его сейчас станут ругать, но отругала женщина не его.

Апелляция

– Это кто проверял? – спросила нянечка злым голосом, как если бы ей не удавалось дочиста оттереть кухонную плиту: так Павлушина мама давным-давно раздражалась, когда у нее что-то не получалось, а после мамы никто плиту не мыл, да ею почти и не пользовались: ели в офицерской столовой.

– Илья Михалыч, – поспешно ответила дама с блестками, и ветер, гулявший над крышей, спустился двумя этажами ниже и наподдал в окно. – Потом Алла Олеговна смотрела. А что такое?

Дама взяла листки и быстро пробежала опытными глазами:

– Сочинение не по теме. Илья Михалыч, как всегда, слиберальничал. Алла Олеговна его поправила. А я бы вообще не уд за такое поставила, чтобы ребенка зря не мучить. – Дама взгляделась в текст. – Да он еще синюю ручку взял.

– Вы его не просили?

– Я? – ужаснулась дама.

– Вызовите-ка мне его сюда.

– Из Можайска?

Нянечка нахмурилась и стала еще яростнее тереть стекло.

– А никого другого нельзя было послать?

– Все уже ездили.

– Ну и дальше бы пусть ездили. А его б оставили в покое.

– Это еще почему?

– Запъет там – что делать станем?

– Ну, знаете, по этой логике... – Дама запнулась и недовольно посмотрела на Павлика. «Что стоишь? Иди. Видишь, у нас дела», – говорили ее красивые выразительные глаза с густо накрашенными ресницами, однако мальчик словно прирос к месту.

– Да при чем тут логика, – оборвала ее нянечка с досадой. – Талантливый мужик, а пропадает ни за что. Если защититься третий год не может, женился бы, что ли. Апелляцию почему не подавал? – повернулась она к Непомилуеву.

– А это что такое?

Ученая дама презрительно усмехнулась, но нянечка еще пуще рассердилась:

– Зачем ему не объяснили?

– Всем объясняли на консультации. А он, значит, слушал невнимательно. Или не понял ничего.

– Жалоба это. Несогласие с оценкой.

«Как же я могу не соглашаться с оценкой, которую мне поставили в университете?» – удивился Павлик, но вслух сказал:

– Так ведь бесполезно.

– Кто тебя этому научил? – закричала нянечка так, что задрожали стекла в шкафу. – А вы куда смотрели? Почему пропустили?

– Я свое мнение высказала, – отрезала дама. – И потом вы сами, Муза Георгиевна, знаете, нам апелляции...

– Знаю! – возмутилась нянечка. – И сама терпеть не могу все эти слезы, обиды и кланченье оценок. Потому и спрашиваю. А вам ничего нельзя доверить. Это вообще... сплошной произвол. Синюю ручку он взял. А вы с Аллой Олеговной почему не взяли? Никакого профессионального чутья.

Она снова хлебнула из фляжки и задумалась. Дама молчала, Павлик тоже затих, и только сердце в его груди колотилось так отчаянно, что ему казалось, эту колотьбу все слышат и сердятся на него.

– Восемнадцать когда?

– В октябре.

– Послужит, ничего страшного, – поморщилась дама и посмотрела на Павликовы потные подмышки и коротковатые штаны, из-под которых торчали голые ноги в бежевых носках и стоптанных рыжих полуботинках. – А потом на рабфак пусть поступает, если ему так уж сюда приспичило.

– Это год назад было ничего страшного, – проговорила нянечка со злостью и отшвырнула пустую фляжку.

– Не он один такой.

– Знаю, что не один, но вот такие, как он, первые попадают! – взвизгнула она, и лицо ее перекосилось. – Обещаешь, что учиться будешь?

– Что?

– Лекции не станешь прогуливать, к семинарам будешь готовиться, дебоширить в общении не будешь. Шляндаться по ночам с кем попало, пьянствовать. Обещаешь? – допрашивала Павлика нянечка, но самое поразительное заключалось в том, что от старушки пахло коньяком, хотя глаза у нее при этом оставались трезвыми и взыскующими.

Павлик переводил взгляд с нянечки на ученую даму и молчал. Он не был уверен, что понимает всё до конца, дама в синем костюме по-прежнему казалась ему чрезвычайно опасной, недоброжелательной и куда более влиятельной, только нянечка почему-то совсем не боялась ее.

– Пиши, – сказала она требовательно и протянула Павлику пустой лист бумаги.

– Что писать?

– Апелляцию пиши.

– Какую апелляцию! – возмутилась дама. – У него семнадцать баллов. А проходной в этом году двадцать три с половиной.

– Сама знаю, – огрызнулась нянечка. – Значит, четыре апелляции пусть пишет. На каждый экзамен.

– Да вы что? – возопила дама и схватилась за пышную прическу. – Там дети с полупроходным баллом ждут, а тут...

Павлик даже не предполагал, сколько брезгливости и отвращения может выразить прекрасное женское лицо. «Словно мышь увидала».

Нянечка слушала, хмурилась, но ничего не говорила. Только барабанила пальцами по столу.

– Все сроки уже прошли, – не унималась дама, – в ректорате нам за это...

– С ректоратом, Рая, я сама буду договариваться. И если надо, в большой партком пойду.

– В партком? – затихла от удивления дама и даже не подняла, а как-то задрала аккуратно выщипанную левую бровь. – Вы же у нас беспартийная.

И Павлику показалось, что она произнесла это с каким-то даже уважением.

– Я хоть к черту пойду, если надо будет, – рассердилась нянечка. – Ректорату тоже нельзя много власти давать. А ты, мил человек, пиши. Пиши, батюшко, и не подслуховай, пока я не передумала. Тебя наши бабы печали не касаются дак. Председателю приемной комиссии, декану филологического факультета, члену-корреспонденту Академии наук СССР, доктору филологических наук, профессору Мягонькой...

– Какой?

– Фамилие у меня, батюшко, такое, – пояснила старушка. – От... апелляция... первая а, одно пэ, затем е, в середине два эл... Прошу пересмотреть мою оценку на вступительном

экзамене по... Так... следующую пиши. То же самое, только экзамен другой. А число не ставь. Число мы сами потом поставим. Написал?

– Написал. Сюда положить?

Ветер наконец распахнул окно, и горшок с цветком качнулся и полетел на пол. Павлик подхватил его в самый последний момент и не заметил, как ученая дама со значением посмотрела на нянечку, но та еще непримиримее дернулась.

– У Даля эта форма в словаре есть.

– И у Маяковского в «Облаке в штанах» есть. И у Зощенки есть. Только вряд ли отрок об этом ведаёт.

– Вот и будем его учить.

Она быстро пробежала глазами одно за другим четыре заявления, яростно поставила недостающие и убрала лишние запятые и нечто начертила на каждом листке.

– Всё, ступай. В понедельник придешь на занятия. И только попробуй хоть одну лекцию, хоть семинар любой у меня пропустить. Сама за тобой следить стану. Сессию зимнюю вовремя не сдашь – пеняй на себя. Чего не понимаешь, спрашивай, не стесняйся. Дремучесть свою не прячь.

– Спрячешь ее, как же! – усмехнулась дама. – Она вон вся у него на лице написана.

Павлик побагровел от обиды всеми своими образцовыми прыщами и подумал, что нянечка за него вступится, но та глазом не повела.

– И везде учишь, понял? В коридоре, в буфете, в общежитии, везде слушай, как люди говорят, все новые слова запоминай и записывай, память тренируй. – Она порылась у себя на столе и протянула Павлику блокнот в коричневом переплете. – На вот, дарю и сама проверять стану, что ты там поназаписывал. Каждый день себя спрашивай, что нового узнал. И минуты не теряй. Им, – мотнула она головой куда-то в сторону, – можно. Тебе – нет. Тебе ничего нельзя. И терпи. Что бы с тобой ни происходило, всё терпи. Обижаться ни на кого не вздумай. На обиженных воду возят. За науку всем говори спасибо. Хорошей жизни не обещаю, но шанс даю. И гляди, батюшко, не подведи меня ужотко. Не подведешь дак?

Павлику захотелось плакать. Он не понимал, что с ним происходит, он не плакал даже на похоронах отца, а тут слезы подступили к глазам, как в детстве, хотелось их вытереть, но тогда все увидели бы, что он плачет.

Он только молча кивнул и, ни на кого не глядя, вышел из кабинета, услышав, как за спиной высокий женский голос спросил:

– Муза, ну зачем нам этот лопарь?

Нянечка что-то негромко ответила, но дверь, отделявшая Павлика от кабинета, уже закрылась, в лицо ему бросились вопрошающие, сочувственные, любопытные, недовольные, оттого что он так долго задержал очередь, взгляды. Слезы наконец брызнули, и Павлик быстро пошел по коридору мимо кафедр, аудиторий, лабораторий, кабинетов, доски объявлений и стенной газеты с фотографиями, на которых студентки в летних платьях и сарафанах слушали архангельских старушек, по всей вероятности, двоюродных нянечкиных сестер, и что-то старательно за ними записывали в похожие на деканский блокнот тетрадки.

– Да не убивайся ты так, – пожалел Непомилуева кто-то вослед.

Пашино сочинение

Тема, идея, конфликт пьесы Н.А. Островского «Гроза»

Я эту книгу не очень хорошо помню. Там о том, как девушка в речку бросилась, а почему не очень то и понятно. То есть нам в школе говорили луч света в темном царстве, протест против закрепощенности, суровые нравы в нашем городе, всё это может быть и так, но кинутся в реку всё равно слишком серьезное дело. К тому же она верующая была, а для них самоубийство это грех, я слышал, знаю. Вообще, я думаю, ей просто не повезло. Муж достался малохольный, а любовник того хуже. Вот она и разочаровалась во всём. Но только не это главное, а то главное, что у нее не было детей. Будь у нее дети, всё бы совсем по-другому сложилось бы. И не было бы у нее этих мыслей. Но кроме детей там еще, наверное, что-то было. Ведь не все же, у кого нет детей или кто мужа не любит руки на себя накладывает. Она очень мечтательная была. Там в этой книжке одно место есть, когда она рассказывала своей подружке как в детстве в православскую церковь ходила и ангелов видала. Я сам то в церковь никогда не ходил и не пойду, церковь это всё глупости для старушек, но вот то что ей ангелы мерещились, что она летать хотела от этого всё, по-моему, и пошло. Потому что если летаешь неосторожно, то обязательно, в конце концов упадешь. Вот она и упала. Такая в этой книге и тема, и идея, и конфликт, а что еще написать я не знаю.

Мне эта пьеса не очень нравится, но на другие две темы я совсем не знаю что писать. Пробовал, не получилось. На консультации нам говорили сочинение должно быть не меньше четырех страниц, если обычным почерком, а я размашисто пишу. Поэтому я еще про себя напишу, если вам интересно. Ну вроде как на вольную тему, хотя нам русичка и не советовала такие темы брать. Мне вот тоже однажды мерещилось. У меня, когда исполнилось мне тринадцать лет пошли чири подмышками. (Только вы меня, извините, пожалуйста, я не знаю, как правильно под мышками писать: вместе или отдельно, а синонима у них нету.) Сначала немного, потом всё больше и больше. Я никому долго не признавался, стыдно было, а потом ребята стали говорить, что от меня запах нехороший идет. Ты бы говоришь, мылся что ли чаще. А я каждый день в душ ходил, но чири эти всё равно не проходили. Мне в школу стыдно стало ходить и я начал прогуливать. А зима была, у нас зимы лютые, с пургами, и я вот слонялся не пойми где. Отцу ничего не говорил, стыдно было про это говорить. Ну а потом ему из школы позвонили, стали спрашивать, почему меня нет, тут всё и открылось. Он меня отругал за прогулы, а еще за то, что я ему ни чего не говорил. Потом повел меня к врачу, тот сказал, что это от нехватки витаминов и вообще болезнь роста, я ведь правда вымысал за один год сантиметров на пятнадцать, и всех в классе обогнал. И отца обогнал, а он у меня высокий был. В общем, доктор прописал какую-то мазь, но она не помогала. Запах не проходил и никто со мной рядом сидеть не хотел, и я совсем не знал что делать. Шел как-то по улице и вдруг навстречу странная такая эсеница идет. На подвид той бабульки, которая грозила этой Катерине всякими карами. У нас в городе таких бабулек и не встретишь. Остановила она меня и стала допытываться, что у меня за горе. Я взял и всё ей выложил про свою болезнь. Мог бы и не говорить. Я и так вижу. И сказала, что болезнь моя от сглазу, волчье выме называется и потому вылечить ее просто так невозможно. «Ты докторов не слушай, говорит: они ничего не понимают. И отцу не говори, он у тебя партийный, а партийным такое нельзя. Но я заговор прочту и всю порчу у тебя как рукой снимет». Прочла, а мне всё хуже и хуже становилось, а отец тогда опять в командировке был. Ну а потом уже положили меня в больницу и оказалось, что у меня заражение крови. И дальше очень быстро всё пошло. Надо было кровь переливать. Я в реанимации неделю пролежал, и никто не знал, выживу ли я или нет. И вот тогда мне тоже что-то мерещиться стало. Я никому об этом никогда

не рассказывал, потому что не поверили бы, но когда я потом читал про эту девушку, то подумал – я ведь тоже самое видел, что она. И вот я хочу сказать, я не знаю, что это было. Одно знаю, на меня потом такая напала тоска, я жить не хотел. Вроде ничего такого не произошло, а вот тоска и тоска. Я себя с этой Катериной не мерю. Она отсталая, темная, а я советский человек. Но и советским иногда мережится. Ну так вот, я бы и не стал про такое писать, просто я считаю, что не мог автор этого не уразуметь. К тому же он для театра писал, ему нужно было, чтоб актеры играли, но главное, она как будто отравлена чем-то была. И я примерно догадываюсь чем. Мечтательностью своей. Я долго тогда лежал, и думал о том, почему отец меня не любит. Вот не любит и всё. И от этого все мои беды пошли. А он другого бы сына хотел, такого как он. Ну чтоб ходил с ним на охоту, стрелял, он мне даже ружье настоящее подарил на день рождение. Я у него конструктор просил, а он говорит: зачем тебе конструктор? Ты уже сын не маленький. На вот тебе ружье настоящее. Он думал, что я обрадуюсь. Потому что любой бы на моем месте обрадовался. А я заплакал от огорчения, и он рассердился на меня ужасно. А ружье хорошее такое, старинное, немецкое. «Зауэр» называется. Оно ему от его дядьки досталось. Я это ружье даже полюбил потом. Мне по мишеням стрелять нравилось, но когда он мне велел в настоящего кабана стрелять я не захотел. А он меня заставлял и я скрипя сердцем выстрелил, но слава богу промазал и сказал отцу, что никогда больше по животным стрелять не буду. И папа совсем тогда расстроился. И не говорил со мной несколько недель. И после этого я и заболел.

А писатель этот потом еще про Павку Корчагина написал. Это мне больше понравилось, но раз вы про «Грозу» спрашиваете, я вам так скажу – люди любят мечтать и нас в школе учат, а кем вы мечтаете стать, когда вырастите? А я вот мечтал поехать в университет учиться. А отец не разрешал. А я всё равно мечтал. И отец умер. А я думаю, он может для того и умер, чтобы я мог поехать. Но тогда не надо мне такой мечты. Я вот тоже всё лежал и мечтал, как весь мир объеду. Я вообще очень много мечтал, что стану великим, знаменитым, что все будут на меня показывать пальцем: а это тот самый Павел Непомилуев, и так сладко было этими мыслями уноситься, тешился ими, как будто расчесываешь что-то. До крови. А у меня всё тоже началось с того, что стало подмышками чесаться. Вот и дочесался до того, что чуть было на тот свет не отправился. А ведь душа человека тоже может чесаться. Мне потом говорили, что всё дело было в половом созревании, не знаю, может быть и так. Зато я пока в больнице лежал, столько книжечек хороших прочитал. И гораздо лучше, чем эта «Гроза». Потому что если честно, какое мне дело до этой Катерины и ее страданий?

Но жалко ее всё равно глупую, могла бы жить себе и жить. А то не справедливо получается. Одни жить хотят изо всех сил как Базаров, например, и умирают. А другие сами от жизни отказываются. Ну вот кажется, четыре страницы есть.

Произвол

На лекции Павлик не попал. Вместо занятий его и часть парней с первого курса отправили на картошку. Выдали студенческие билеты и сказали, что факультет из-за дождей и большого урожая не успевает выполнить план сельхозработ и срочно требуется мужская помощь. Сказала это та самая женщина, которая невзлюбила Непомилуева и назвала его лопарем.

– Недельку поработаете, мальчишки, и домой. Зато окунетесь сразу в студенческую жизнь, подружитесь, денег подзаработаете, а факультет вам эту помощь не забудет.

Пела тетка скорее фальшиво, чем слащаво, совсем не так, как в кабинете у деканши, и по ее беспокойным бегающим глазам было видно, что про недельку она врет, про деньги – тем более, и Павлик, который знал ее лучше других, сразу это почувствовал. «Какая картошка? Зачем она нужна? А как же учиться? Как же ни одной лекции, ни одного семинара не пропустить? Как же каждый день себя спрашивать, что я нового узнал? Что я там нового узнаю?»

Должно быть, обида была написана на его простодушном лице, потому что дама сердито сказала:

– А ты вообще занимаешь чужое место – и молчи.

Павлик вздрогнул, будто его по щеке ударили, и захотел поскорее уйти.

...Ехали долго, сначала по широкой Москве, потом мимо каких-то поселков, деревень, садовых участков, небольших городов, несколько раз пересекали железную дорогу, подолгу ожидая, когда пройдет электричка или бесконечный товарный поезд. Непомилуев сидел в тугом коричневом костюмчике один на переднем сиденье и по привычке глядел в окно, однако на душе у него было смутно. Он слышал, как парни за его спиной быстро перезнакомились, достали бутылку, пустили по кругу, затем вторую, третью, у кого-то оказалась домашняя снедь. Большая часть была москвичи, на приезжих смотрели свысока, а может быть, так только казалось, что свысока, но ни один человек не был расстроен. Картошка была для них приключением, началом взрослой жизни, и только у Павлика свербило на сердце и хотелось на улицу выйти. Автобус был тесный, ноги затекли, как в самолете, а парни всё поддавали и поддавали, пили даже те, кто раньше никогда не пил, орали громче и веселей, но Непомилуев не любил, когда люди пьют и глупеют. «Неужели они лучше тех, кто не поступил?»

– Житуха, брат! А ты чего отстаешь? – Пьяный от свободы здоровый рыжеволосый парень подсел к нему и протянул бутылку «Старорусской». – Прими на грудь, товарищ!

– Укачивает, – соврал Павлик.

– Ладно, приедем, догонишь. Нам всем вместе надо держаться, земляк. Вместе мы сила, а поодиночке нас деды картофельные задавят. А ты что думал? Там как в армии, брат, – усмехнулся детина. – Курс молодого бойца и служба по уставу.

– А ты откуда? – спросил Павлик осторожно.

– С Варсонофьевского. А ты?

– Из Сибири.

– Везет, – искренне отозвался рыжий. – В общаге будешь жить, без родителей, на свободе. Эй, ты чего? Не хандри, сейчас приедем, оторвемся. У меня этого добра! – кивнул он на потертый абалаковский рюкзак и снова отхлебнул. – Эх, братан, гульнем так гульнем. Все девки будут наши.

Автобус свернул с дороги, остановился у ворот, на которых было написано «Пионерский лагерь “Чапаевец”», и из-под земли возник как сумрачное привидение печальный подслеповатый дядечка, одетый в темно-синий городской плащ и шляпу пирожком.

– Комиссар полевого отряда Семибратский, – произнес дядечка сиплым голосом, стараясь экономить слова.

На комиссара шуплый горожанин походил мало, а вот лагерь с разноцветными корпусами и смешными гипсовыми скульптурами выглядел так весело, что складывалось впечатление, их сюда не работать, а развлекаться привезли.

– А где луна и коммунизм в озере? – спросил дурашливым голосом Пашин новый приятель.

Комиссар мельком поглядел на него и поморщился:

– Образованность свою в аудитории будешь демонстрировать. – Потом протер очки и сказал еще меланхоличнее: – В отряде сухой закон.

– Давно? – выкрикнул кто-то насмешливо, пользуясь тем, что дядечка без очков всё равно не видит, а может, и не слышит.

– Буду сейчас смотреть ваши вещи. У кого найду спиртное, поедет на этом же автобусе домой и завтра по моему представлению декану будет отчислен из университета.

Сразу сделалось тихо, и стало слышно, как шуршат сухие листья. Деревья уже начали терять листву, очень гулко было в мире, и звуки раздавались так отчетливо, как бывает лишь осенью, но, похоже, никто из приехавших этого не замечал. Вкрадчиво сказал комиссар, задумчиво даже, не угрожая, а извещая, и от этой проникновенности одним жутчей становилось, а другим стыдней. Павлик покраснел, будто это он всю дорогу на заднем сиденье пил водку, а не парни, которые теперь попрытали глаза. Он не мог понять, стало ему совестно за них, подвыпивших, за комиссара или хотелось как-то самого себя оправдать, но то, что сказал этот продолговатый, похожий на пескаря, нелепый лупоглазый человек, было совершенно нестерпимо. Все молчали, и в чуткой, отзывчивой тишине Павлик услышал собственный срывающийся голос:

– Вы не имеете права!

– Это кто сказал? – поинтересовался комиссар доброжелательно и нацепил на нос очки.

Сделалось еще опасливее и тише, и никем не поддержанный Павлик из последних сил выкрикнул фальцетом:

– Я сказал. Непомилуев моя фамилия. А то, что вы делаете, произвол!

– Знаю, что произвол, – шлепнул губами комиссар и пристально посмотрел на Павлика. Ничего хорошего в его глазах не было. Беспощадные были глаза, лютые.

«Сейчас выгонит, – подумал Павлик отстраненно, как если бы не о нем была речь. – Ну и черт с ним. Пускай выгоняет».

И как-то легче, понятнее стало. «И никаких тебе попреков и чужих мест, и тетку эту злючую больше никогда не увижу», – утешил свою печаль мальчик.

– Но поскольку среди вас объявился один небоязливый, дарю вам ровно одну минуту, чтобы вы достали из своих хотулей и сложили здесь всю стеклотару. Потом начну проверять.

«Я не позволю ему лезть в свои вещи, – решил Павлик, глядя, как торопливо и угодливо его сокурники сооружают на траве узор из беззащитных полуголых бутылок. – У меня ничего нет, но я не позволю. Пусть меня отправляют в Москву, пусть отчисляют, пусть что хотят делают, но я не позволю себя унижать. Ни ему, ни кому другому. Я им всем не Башмачкин какой-нибудь».

Комиссар докурил и стал неторопливо, но при этом исключительно ловко, одним движением, срывать с бутылок крышечки с козырьком и выливать на землю. У некоторых бутылок под крышечкой была прозрачная пленка, и комиссарский палец безжалостно ее протыкал. В воздухе запахло спиртом, как если бы кто-то решил продезинфицировать приезжих, и тишина сделалась еще более чуткой.

Тубус, святцы и антисемит

Ее нарушил наглый трактор, притащивший за собой ржавую телегу, из которой неловко, повернувшись спиной, стали выпрыгивать вернувшиеся с поля студентки. В телогрейках, теплых куртках и сапогах, закутанные шерстяными платками, с запыленными, обветренными лицами и грязными волосами, они, казалось, стыдились своего вида и оттого намеренно не обращали внимания на парней.

– Вот, девочки, как и обещал, пополнение вам, чтобы скучно не было, – сказал комиссар ласково, глаза его потеплели, и оказалось вдруг, что он хороший, заботливый человек.

– Не хотим пополнения, хотим домой, – капризно ответили девочки. – У нас всё болит и цыпки на руках от вашей дурацкой картошки. И на губах лихорадка.

– Ну пожалуйста, миленькие мои, потерпите еще чуть-чуть, – попросил комиссар заискивающе.

– Никакие мы не миленькие. Нам здесь всё надоело. Пусть они вместо нас работают.

– Не вместо, а вместе.

Девчонки недовольно хмыкнули, но возразить ничего не успели: во двор на полном скаку, перемахнув через штaketник, ворвалась гнедая лошадь, а верхом на ней – шеголеватый небритый малый в брезентовой куртке и армейской фуражке, с командирской сумкой, переброшенной через плечо. За малым сидела девушка со светлыми волосами и покрасневшим нежным лицом, в котором было столько счастья, что никакая пыль не была этому счастью помехой.

– Михалыч, что опять за фигня? – молвил всадник сердито. – У меня вчера копалка поломалась, а сегодня на сортировке народ после обеда два часа простаивал. Скажите им наконец, что если они отрывают людей от учебы, то пусть хоть работой обеспечивают. А почему личный состав на тракторе опять перевозят?

Девчонки из телеги с восхищением на него поглядели, и под их взглядами конный заговорил с еще большим воодушевлением:

– Каждое нарушение техники безопасности надо фиксировать – и директору перед планеркой на стол. А еще лучше в харю ему этой бумажкой, в харю! А это что за недоразумение такое? – поморщился он, глядя на пустые бутылки и раскрытые рюкзаки.

– Первый курс. Набрали опять черт-те кого. Надрались в дороге, теперь права качают. – Комиссар снова поскуцнел и сухо поглядел на Павлика. – Вообразили себя взрослыми, а пить не умеют.

– Ну, это не беда, – проговорил всадник благодушно. – Этому-то они всяко тут научатся.

– В другом месте пусть учатся, – отрезал комиссар. – Я что, не знаю, чем это кончится? Пока всё не выжрут, не угомонятся. Утром на работу не выйдут. Вот и нянчись с ними. Мне это надо? Я кандидат не тех наук.

– Не похоже, чтоб эти желторотики права качали, – усмехнулся конный, свысока разглядывая протрезвевших первокурсников, и потрепал морду лошади. – А вот водку вы напрасно, Илья Михалыч, вылили. Лучше бы мне отдали на компрессы. Что нос повесили, бойцы? Картошку небось уважаете, когда она с солью? Значит, так, в передовую першеукраинскую анастасьинскую бригаду имени Бэды Достопочтенного пару ребят покрепче надо. Добровольцы е? – И щербатый рот открылся в довольной улыбке.

– Пара бывает сапог, – произнес кто-то тихо за спиной у Павлика, но у бригадира оказался чуткий слух.

– Это кто у нас там такой мозговитый? – и безошибочно выдернул чернявого паренька с острыми и умными карими глазами. – Иди-ка сюда, Абгамчик. Таки будешь меня гусский язык учить после отбоя. А еще...

Народ испуганно попятился и присмирел. Никто не хотел идти в подчинение к нахальному всаднику.

– Ну, что устались на лошадь, как чукчи на вертолет? – засмеялся он.

– А ты вот этого, Рома, возьми. – И комиссар небрежно махнул в сторону Павлика, до которого ему оставалось три шага. – Смотри, крепышок какой.

– Ну и рожа! – пробормотал бригадир, оценивая Непомилуева, как невольника на американском рынке.

– А чего тебе его рожа? Тебе ж рабочая сила нужна, а не рожа.

– А вырядился куда? Да не, начальник, такого бугая Кавке не прокормить! Разве что вы мне под него двадцаточку лишнюю выпишете?

– Червонца за глаза хватит.

– Ну червонца так червонца, – не стал спорить конный. – Собирай манатки, пупырь, и полезай в телегу.

– В какую еще телегу? В какую телегу? – очнулся потрясенный зрелищем опустошенных бутылок тракторист. – Я никуда сегодня больше не поеду. У меня смена час назад кончилась.

– У тебя смена кончится, когда мы отсюда в Москву наконец уедем, – рявкнул бригадир и ухватил тракториста за плечо. – И пока мои студенты за вас, бездельников, картоплю собирают, ты будешь працюваты. Усвоил, корытник? А ты чего мнешься, как дочь камергера? – повернулся он к Павлику. – Или тебе к твоему кардену кабриолет подавать?

– Я с ребятами, я здесь хочу, – возразил Павлик.

– Здесь ты повинен робыты не то, что ты хочешь, а то, шо я тебе кажу, – рассердился конный. – Ну-ка живо в телегу. Это что еще за труба такая? – И он потянулся к футляру, в который Павлик упаковал карту – единственное, что взял на память из дома.

– Это личное, вас не касается. – И Непомилуев прижал карту к себе.

– Совсем оборзел, боец, – покачал головой всадник печально и рявкнул так, что лошадь под ним шарахнулась: – Отжался – встал! Быстро!

– Да ладно тебе, Ромка, – засмеялась девушка. – Не пугай ребятню. А ты не грусти, малыш. – Она ласково посмотрела на побледневшего Павлика. – Тебе с ребятами своими еще пять лет учиться. А в Анастасьине у нас хорошо, привольно, начальства нет, еда вкусная, девчонки красивые, не пожалеешь, что поехал.

Бригадир тронул поводья, девушка обняла его и прижалась к сильной спине, и двое скрылись в сумерках наступающего вечера, вызывая зависть и восхищение не только у людей, но у деревьев, плетней и даже у гипсовых статуй, впервые пожалевших, что они неживые.

«В сущности, она меня спасла от комиссара, – подумал Павлик, едва успев забраться в сорвавшуюся с места телегу и вцепившись в железный бортик – оскорбленный тракторист был зол и нетерпелив. – Но неужели это тот самый Илья Михайлович?»

Думать о том, что этот злодей читал его сочинение, да еще зачем-то расставлял запятые и исправлял синей ручкой его ошибки, Павлу было неприятно, а думать о неприятном он не любил и переключился мыслями на девушку: «Ах, какая она славная! Только для чего ей этот Рома? По нему же сразу видно, что он дурак и воображала».

– Будешь? – Чернявый товарищ по несчастью или, наоборот, по счастью достал сигарету. Павлик никогда еще не курил, но надо было однажды и начинать. Стесняясь признаться в своей неопытности, он неловко прикурил от прыгающей в чужих ладонях спички. Сладкий дым приятно обжег горло и опустился ниже в грудь, согрев и расслабив всё тело. Павлик почувствовал, как успокаивается и смиряется его душа. А трактор, нещадно подбрасывая двух парней на рытвинах и ухабах, рыча, взобрался на пригорок, откуда открылась долина неизвестной реки, поле, продолговатое озеро с изрезанными берегами и разноцветными деревьями; солнце садилось за дальний лес, подсвечивая сквозь остроконечные верхушки елей редкие облака на темно-синем небе, где вот-вот должны были появиться звезды; тоска, обида, злость и жажда мщения

отпустили Павлика, и мир показался ему таким прекрасным, что он порывисто повернулся к своему спутнику:

– Выпить бы сейчас на восторг души?

– Доставай.

– Не подготовился я в этот раз, Абраш. Прости.

– А чего у тебя в тубусе, не водка разве? – удивился чернявый. – А я подумал: вот гениальное решение – никто б не догадался туда залезть. Меня вообще-то Денисом зовут, – продолжил он и выудил из-за пазухи плоскую фляжку с коньяком, точь-в-точь такую же, из какой отхлебывала на девятом этаже милосердная нянечка-деканша. – Дионисием по святцам. А ты что, антисемит?

«Три новых слова: тубус, святцы и антисемит», – отметил про себя Непомилуев, мысленно открыв подаренный ему блокнот, и впервые в жизни хлебнул из горлышка вязкий напиток.

Пролетные гуси

Анастасьино оказалось унылой тупиковой деревушкой, стоявшей на краю большого поля, за которым начинались сумрачные леса и тянулись до самой Вязьмы. Студентам в лес дальше опушек ходить запрещали и рассказывали страшные истории про двух девочек с классического отделения, которые ушли по грибы, и никто их с той поры не видал. Придумали эту историю в назидание, или так случилось на самом деле, но в лес и вправду никто не ходил, да и некогда было ходить: работали каждый день и без выходных. А в самой деревне смотреть было не на что: разбитая тракторами улица, печальные низенькие дома с невзрачными окошками, огороды, плетни, лужи, заросший грязный пруд, коровник с прохудившейся крышей, ларек, гостевая изба, похожая на усовершенствованный барак, которую называли зеленым домиком, хотя стены у нее были бледно-голубые, и пустовавший неподалеку лазарет с плотно занавешенными окнами.

Жили в зеленом домике студенты и аспиранты с двух кафедр – самой умной и самой надежной, – за которыми, как считалось, догляда не требуется. За ними и не приглядывали. Они сами за собой и друг за другом следили и между собой не слишком ладили. Но до ссоры дела не доводили. Сами пешком выходили в десятом часу на работу, сами возвращались к семи домой и никого не тревожили. Никакого сухого закона, как в лагере, здесь не было. Завхозу, аккуратному белоголовому латышу Артуру Озолсу, выдавали на неделю деньги, которые он использовал, ко всеобщему удовольствию, очень грамотно: поскольку еда была наполовину с поля, а яйца, молоко и сметану задешево покупали оптом у деревенских, кур же, случалось, просто так хватали на улице, то на оставшиеся средства приобретались сладости и ликеры для хороших девочек, водка для плохих, а также для всех мальчиков, и всякий ужин превращался в застолье. Молодых не гнали, но особо и не привечали – сидите тихо и не рыпайтесь. Они и не рыпались, однако водку им не наливали: малы еще, не заслужили. Будете хорошо работать – тогда посмотрим. Дионисий обижался, но не потому, что выпить хотел, а просто неприятно было, когда тобой напоказ пренебрегают, Павел же ничего, терпел.

Он скоро к новой жизни привык и ел свой хлеб не задаром. Его сильное, неизбалованное тело сполна отдавалось труду, и он был рад, оттого что может быть полезен людям, рядом с которыми оказался. Он не только свои корзины быстрее всех собирал, но и высыпал из других картошку в мешки, чтобы девушкам не надо было поднимать тяжести, а потом, когда появлялся на поле трактор, помогал грузчикам закидывать мешки в телегу. Грузчиками работали трое рыхлых аспирантов с надежной кафедры, которые весь день валялись на сеновале, писали пулю, прикладываясь поочередно к «Алазанской долине» и «Белому аисту» и отрывались от игры, только когда приходил трактор. Но и тогда звали студентов на подмогу, себя напрасно не утруждая. Денис мешки принимал, высыпал, выкидывал пустые, и всё начиналось по новой: грядка, корзина, мешок, телега и бесконечное поле, которое они должны были убрать, каждой картофелинке поклонившись. Павлик не переставал поражаться тому, как были непохожи эти картофелины одна на другую: большие, маленькие, средние, круглые, продолговатые, сросшиеся, фигуристые, простые, замысловатые, шершавые, гладкие. Северный человек, Непомилуев никогда прежде не видел, как растет картошка, и замирал в удивлении над долгой ровной грядкой, скрывавшей, как и его родной город, свое богатство под землей, и только насмешливые девичьи голоса возвращали его в реальность, и руки снова начинали скоро выбирать из сырой земли клубни, которых в тот год уродилось и в самом деле так много, что серые холщовые мешки стояли между грядок часто, как суслики жарким днем в даурской степи – о них рассказывал Павлуше служивший там срочную отец.

– Когда всё уберете – поедете домой. Пока не уберете – будете жить здесь. Поле труд любит. В поле ни отца, ни матери, заступиться некому, – так очень доходчиво объяснил студен-

там их ближайшую перспективу совхозный бригадир по кличке Леша Бешеный, который каждый день приезжал принимать работу. Голос у Леша был сильный, а на лице отсутствовал нос.

– Если бы не увидел своими глазами, то решил бы, что это гоголевщина какая-то, – сказал Павлику Дионисий. – Ну чисто корова языком слизнула.

Если Леша обнаруживал на пройденном участке хотя бы три небольшие картофелины, он возвращал всю бригаду назад и заставлял подбирать картошку снова.

– Подтрухивайте, девки, подтрухивайте ее! – орал на девчонок, когда те высыпали из ведер и корзин картошку в мешок, недостаточно очищая ее от земли.

Лешу ненавидели и ругали последними словами, Бешеный в долгу не оставался, оправдывая свое прозвище, студентов презирал и только для Павлика делал исключение.

– Ну наконец-то хоть один нормальный мужик среди вас обнаружился, – объявил он Роману. – Богач, ты этого удачно прикупил.

И Павлик не сразу догадался, что Богач была фамилия студенческого бригадира.

Одетый в совхозное шмотье, Непомилуев еще быстрее носился между девчонками по полю, освобождая их корзины и подтрухивая, – большой, нелепый, вызывающий усмешки и не понимающий, почему над ним посмеиваются, но ни на кого не обижающийся. Он, скорее, стеснялся самого себя. И смотрел на всех окружающих снизу вверх, хоть и был самым большим. Но роста своего стеснялся, как стеснялся и аппетита, и размера ноги, из-за которого ему не сразу нашли сапоги, а пришлось ехать за ними в Рузу. Бригадир оказался прав: Павлика было трудно содержать. Ему всё нравится, сколько ни положи – мало, всё он уминал и смотрел голодными глазами, и повар, гладкий ласковый брюнет по прозвищу Кавка, любовно звал его пупсиком, наливал лишнюю тарелку супа и обещал сводить в Москве к своему знакомому врачу-косметологу, который пользовал артистов Театра оперетты, и помочь с лицом. Павлику страшно неловко делалось, но, к счастью, никто Кавкиных слов не слышал или значения им не придавал.

Отлетали один за другим долгие, похожие друг на друга дни, поле незаметно сокращалось, картошка увозилась на сортировку, где ею занимались литературоведы-структуралисты, хитроумные, себе на уме люди, которые вели всему подсчет и подкармливали совхозного механика, наладившего им сортировочную машину, и учетчиц, принимавших наряды, чтоб заработать денег. Павлик про деньги не думал. Какие деньги? За что? Кормят, поят, крышу над головой дают – что еще человеку надо? А ведь надо было что-то еще. Потому что кончался день, словно и не было его, бросили в печку полено, сгорело оно, отдало тепло, и одна зола осталась. И что этот день? Чему научил? Что нового принес?

– Нам, Павлуня, учиться надо, а не картошку собирать, – сказал однажды Дионисий во время перекура. – Ты себе можешь представить, чтобы где-нибудь в Оксфорде или Сорбонне студентов на первом курсе на турнепс отправляли?

Павлик вытаращил на него удивленные глаза.

– Я поглядел перед отъездом наше расписание. Смотри, сколько мы уже пропустили. Там сейчас Панов фонетику читает, Тахо-Годи – античку, Аникин – фольклор, Широков – введение в языкознание. А латынь как будем Шичалину сдавать? А английский Кулешову-сыну? Да еще история КПСС, будь она неладна. Ты в какой группе? Я в финскую хочу, а там мест, говорят, нету...

Непомилуеву ни эти имена, ни названия, ни финская группа ничего не говорили, и уж тем более он не понимал, чем должна быть неладна история партии, но чувствовал, что прав Денис. Только если Дионисий был полноправным студентом, то Пашу из милости взяли. Пожалели за что-то, и это было страшно несправедливо по отношению к мальчишкам и девчонкам из очереди за документами, и радость от поступления, от того, что он студент Московского университета, сменялась горечью, и Павлик догадался, почему он заплакал в коридоре. Не от счастья, а от стыда и вины своей заплакал. Выдали аванс – отработывай. Он и отработывал,

а когда не работал, то думал. И потому любил работать, что работа освобождала от мыслей. Он вообще стал думать больше, чем раньше, и чувствовал, что с ним что-то новое, непонятное происходит. Раньше жил себе и жил, мечтал или не мечтал, тосковал по матери, читал книжки, бродил вдоль стены, иногда уезжал с отцом и с полковником Передистовым на вездеходе на охоту или рыбалку, и отец, подвыпив, жаловался полковнику на скрытность сына, на то, что здоровый вырос, а ничему путному так и не научился и в голове у парня пустота. И что из такого недоросля получится? А Павлику просто нечего было о себе рассказывать, он еще ничего кроме способности удивляться не накопил, и жизнь у него была как будто понарошку. Глазел бездумно по сторонам, чувствовал, как проходит сквозь него ветер, любил трогать руками шершавые стволы деревьев и мог часами смотреть на текущую воду.

– Ты б хоть удочку закинул. На поплавок бы лучше пялился, чем просто так сидеть, – говорил отец, а Павлуша не понимал, зачем удочка, если рыбу всё равно нельзя есть? Да и пусть плавают в реке рыбы, летают в небе птицы, бегают звери в лесу и никто никого не обижает. Но суп из боровой дичи – водоплавающую не стреляли потому же, почему и рыбу не ели: отец однажды уток настрелял, а Передистов счетчик Гейгера к ним приложил, и всех уток выкинули, – так вот, суп из куропаток или жаркое из рябчиков Павлик с удовольствием трескал и не мог остановиться, как-то не задумываясь над тем, откуда еда берется. Вкусно, и ладно. И ко всему так в жизни просто относился. Еще любил на гольцы забираться. Отец ему говорил: куда лезешь, дурачок? свернешь себе шею, – а Павлику нравилось подняться куда-нибудь на верхотуру и стоять там наедине с солнцем и небом, смотреть на верхушки деревьев, тайгу, озера, болотца, и так хорошо ему было, так полно. А теперь всё прежнее куда-то подевалось, вдруг стали наваливаться мысли, как если бы не укорившая его деканша и не лысый полковник, а жизнь свой счетчик включила, и вот он не успевает, отстает и, получается, сколько времени впустую потратил. И всё чаще он думал о родителях, потому что, чувствовалось Непомилуеву, с тех пор как отца не стало, его жизнь переменялась так резко, что без какой-то таинственной помощи извне объяснить это было нельзя. Как если бы отец не просто освободил Павлика от необходимости жить по строгому родительскому плану, уступив глупой сыновней мечте, но принялся вдруг сыну помогать, и эта помощь была настолько ощутима, что мальчику не по себе становилось. Он о ней не просил, он на нее согласен не был, он про это и в сочинении написал, потому что ни о чем другом не мог думать, но его как будто и не спрашивали. Помогали, и точка.

Павлик ничего не знал про бессмертие души, но встающие над полем облака напоминали ему отца и мать. Прежде этого чувства у него не было, и Непомилуев догадался, что всё дело было в небе. Его родная земля была гораздо красивее верховий Москвы-реки, но чего там не было, чего не видел Павлик прежде, так это открытости, распаханности ровного пространства и низкой линии горизонта. Не видел таких сумасшедших облаков, не видел начинавшегося прямо от земли неба, и порой под вечер он замирал среди полей и последним возвращался домой, в сумерках угадывая зыбкие огоньки Анастасьины. В эти минуты он забывал об отцовской суровости, требовательности, жесткости и помнил только детское, далекое: озеро, ягдташ, костер на берегу.

Однажды днем над анастасьинским полем пролетали гуси. Они летели в две высоты большой стаей, и в небе стоял протяжный гогот. Павлик гусей и прежде наблюдал много раз, видел, как в них стреляют охотники и радостно вскрикивают, когда удастся попасть, а вот студенты, похоже, увидели впервые. Они вообще многое что впервые в своей жизни здесь увидели, узнали, открыли, испытали и теперь смотрели, задрав голову, махали руками, кричали, как малые дети, нараспев про «крикливый караван тянулся к югу», и Павлик поймал себя на мысли, что ничего более прекрасного, чем этот день с застывшими облаками, с девчонками в разноцветных платках и серых телогрейках, с гогочущими гусями и ровными рядами картофельных грядок, на свете нет. Ему вдруг показалось, что он смотрит на всё со стороны, как

будто откуда-то издалека, но видит всё. И он подумал, что его отец, который был не среди этих летевших птиц, нет, а стоял рядом с Павликом, прощает сына за то, что мальчик не хотел стрелять по зверям и птицам. Павлик не заметил, как слезы потекли по его грязным щекам, оставляя на юной щетине неровные бороздки.

– Ты чего? – удивленно спросила его неприметная девчушка с простуженными синими глазами, но он сердито отвернулся от нее, отошел в сторону, а потом, подняв голову к небу, стал разговаривать с отцом и матерью: «Как живу? Да, в общем, ничего живу. Хорошо. Работы много, но я справляюсь. Девчонкам трудней приходится. Некоторые плачут по утрам, вставать не хотят, домой просятся. Ребята как? Хорошие ребята, умные, знают много всего. Так что всё у меня хорошо. Чего я недоговариваю? Всё я, пап, договариваю и ничего не скрываю. Почему я всё время один? Ну один. Подумаешь. Мне и одному хорошо. У них своя компания, у меня своя. Я и говорить-то не знаю о чем с ними можно. Девочки? Да как-то не до девочек, мам. Почему никто не нравится? Есть одна, но она уже занята...»

Кубик Рубика

Павлуша был с детства мальчиком столь же влюбчивым, сколь и невезучим. Он влюблялся во всё далекое, недостижимое и невозможное: в старшую пионервожатую Таню, в молодую учительницу биологии, в старшеклассниц, в высокомерных красавиц, которых его телячья восторженность лишь раздражала. Влюбляясь, он глупел больше обыкновенного, молчал, краснел, потел или вдруг принимался рассказывать девчонкам такую чепуху, какую им не хватало терпения выслушивать, и они с легкостью отталкивали дурачка, не догадываясь, как это ранит его доброе, незащищенное сердце. А после того как Павлик повзрослел, он и вовсе рехнулся, и всё женское вокруг него поделилось надвое: на то, что еще более возвышенно, чем прежде, воздействовало на его романтическую душу и рисовалось в облике длинных платьев, струящихся по плечам волос, устремленных вдаль взоров и тихих слов, и на то, что раздражало, провоцировало и дразнило мнимой доступностью. Павликова буйная плоть отчаянно боролась с буйным воображением, отчего и расцвела пышным цветом его несчастная физиономия. Он был уверен, что первый и единственный в мире, кто подобные чувства испытывает, и ужасно себя самого стеснялся, отец же полагал, что мальчишка справится со своим возрастом, как все до него справлялись и после него справляться будут, надо просто выкинуть дурные мысли из головы, соблюдать нехитрую гигиену и больше спортом заниматься. Но какой, к черту, спорт и какая гигиена, если повсюду и днем и ночью, и во сне и наяву влекло и мерещилось Павлику тайное, запретное, сладкое. Хорошо еще здесь, в холодных трудовых полях, среди закутанных в семь одежек девчонок, не до этих мыслей было, и всё же в глубине души он надеялся, что появится у него девушка, пусть не сразу, но появится, и он сможет примирить и соединить высокое и низкое, закончив миром свою внутреннюю войну. И был Непомилуев заранее этой единственной девушке благодарен и готов всё для нее на всю жизнь сделать. Только не было ее пока, или он еще не распознал.

– ...Эй, фурсик, алё. Перекур.

Павлик с удивлением посмотрел на изящного парня в широкополой черной шляпе и очках с тонкой оправой и затемненными стеклами.

– Жвачку хочешь?

До этого момента никто из структуралистов с ним не заговаривал. Он жил с ними в одной комнате, но они его не принимали, говорили на птичьем языке, сыпали загадочными словами, которые Павлик, как ни старался, запомнить не мог, и выражали прищельцу одно-единственное чувство – презрение. Павлик не мог уразуметь, кто его презирает – эти люди или наука, которую они изучают, – но всё это было странно. Он совсем по-другому представлял себе университет, он привык в Пятисотом, что на всякую открытость отвечают открытостью, без причины никого не отталкивают, не заносятся, скрытность берегут для вещей действительно важных и знают ей цену, но здесь всё было иное – нарочито усложненное, соперничающее, высокомерное. Это началось с самого первого дня, когда бригадир привел его в комнату, где жили структуралисты, и они возмутились тем, что им подселили чужака.

– Ты кто такой? Иди давай отсюда.

Непомилуев растерялся. Он к людям всей душой тянулся, ему казалось, что все студенты университета братья и старшие опекают младших, а его ни за что ни про что мордой об стол. «Я бы на их месте так никогда не сделал, – подумал Павлик. – Ну понятно, со своими ребятами лучше жить, но раз уж подселили тебе человека, так и отнесись к нему по-человечески: он же не виноват, что так получилось».

Вышел на улицу с рюкзаком и тубусом, уселся на крылечко и попался бригадиру.

– Это что за бездомовец такой? Не пускают? – Глаза у Богача недобро прищурились. – Ну-ка, пойдем. Приказ у меня есть, однако, хлопцы.

– Какой приказ?
– Чтобы хлопец жил здесь. Что непонятно?
– А почему не у вас? У нас чего, места больше всех? Чей у тебя приказ? Ну-ка, покажи.
– Устный приказ. И его не обсуждать, а исполнять надо. Или мне на сортировке рокировку сделать?

Структуралисты тотчас замолчали, но Павлику от этого легче не стало, а когда он достал из тубуса свою любимую карту и деликатнейшим образом спросил, где можно ее повесить, на него посмотрели с таким недоумением, как если бы заговорила приبلудная собака.

– Бодуэн, что это было? – спросил узкогрудый, болезненного вида лохматый паренек с черными и крупными, как маслины, выпуклыми глазами.

– Складывается впечатление, Бокренек, – откликнулся на это странное имя цивильно одетый, будто не на картошке он был, а пришел в эту комнату из аудитории на девятом этаже, гладко выбритый, пахнувший благородным одеколоном, симпатичный русоголовый курносый гражданин, – что это была попытка коммуникативного акта.

– Хорошо хоть не полового, – захохотал и повернулся к Павлику третий, неумело вращавший странную поделку, похожую на соединенные между собой маленькие разноцветные кубики. Если не считать небольшого шрама над верхней губой, лицо у него было чистое, розовое от юности и здоровой крови, никогда не знавшее переживаний и помех переходного возраста, и на новенького он поглядел с особенным превосходством. – Ты как умудрился поступить-то сюда, дружок? Это куда ж факультет катится, ежели таких, как ты, принимают? Или ты вообще не отсюда? Может, ты, засколупина, автобус перепутал? Из кождиспансера, зараза, сбежал? Данилок, проясни-ка ситуацию и объясни мне, наконец, что с этой хреновиной делать.

Четвертый, мускулистый, коротко стриженный, но с мягкой чубарой бородкой и выдающимся хищным носом, закрывавшим половину разбойного лица, даже не повернул голову. Молча взял кубик, несколько раз ловко его крутанул в разные стороны, в результате чего каждая из них оказалась одного цвета, потом так же ловко эти цвета разворошил, вернул красавчику и снова уткнулся в иностранную книгу, шевеля губами и запоминая чужие слова, так что, казалось, ничего, кроме этой книги, его в мире не интересовало. Над его кроватью висела смешная картинка: парень и девушка, обнявшись, парили над старым городом, а внизу под забором сидел мужичок со спущенными штанами и не замечал, что у него над головой делается.

Павлик усталился на говоривших, как бычок, тупо, недоуменно, чувствуя, что его зачем-то провоцируют, и не зная, как на это ответить. Самое правильное было немедленно дать по утонченной гладкой физиономии хамоватому игроку в кубики, только как-то не хотелось с физиономии начинать. Всё-таки университет, логофилия, словом надо все споры улаживать, а не кулаками махать.

– Это карта моей Родины, – сказал Павлик с затаенной гордостью.
– Так и шел бы ты, родимый, со своей родиной куда-нибудь в другое место.
– Вам не нравится, вы и идите.
– Это ты сказал, – пожал плечами симпатичный Бодуэн.

Назавтра Непомилуев попросил у бригадира, чтобы его переселили к идеологам или в лазарет, однако Богач отказал:

– Лазарет для иных целей потребен. Живи, где велено.

Что ж, велено так велено, значит, буду жить как немой с глухими. И ничего, жил, хотя, конечно, вечерами после ужина тоскливо бывало. Парни говорят о своем, кубик свой дурацкий по очереди крутят, а его как будто нет в комнате. Павлик попытался было за ними записывать в нянечкину тетрадь, но им это почему-то совсем не понравилось.

– Ты чего там строчишь? – спросил недовольно Бокренек и выпятил губы.
– Слова новые.

- Какие еще слова?
- Разные. Апазиция, например.
- Зачем?
- Муза Георгиевна велела.
- Кто велел? – не поверил красавчик. – Мягонькая сроду такими вещами не занималась.
- А ты, Сыроед, уверен? – поднял голову Бодуэн. – Они теперь уже ничего не стесняются.
- Ну уж тогда, наверное, не такого бы придурка нашли.

Поглядели на него все четверо зло и сердито, встали и ушли из комнаты, а когда вернулись, то больше при Павлике вообще ни о чем не говорили, а его просто не замечали. Бойкот ему объявили, а за что, спрашивается? За то, что он поучиться у них захотел? Вот жлобыто. Мальчику совсем тоскливо стало. Он сначала посмотрел на карту, на Курильские острова, которые были ближе всего его глазу, а потом сам ушел на улицу, чтоб структуралистам не мешать. Где-то раздавался перебор гитары, играл магнитофон, и Павлуше захотелось попроситься на огонек, пообещать, что он будет тихо в уголке сидеть и никого собой не потревожит, но неловко как-то было. Вдруг и эти погонят. Пробежал мимо с таинственным видом Дионисий и исчез в ночи, но Павлика с собой не позвал.

- Девушка у меня в деревне, – сказал он шепотом и покраснел.
- Ты когда познакомишься-то с ней успел? – удивился Непомилуев.
- Успел. – И Дионисий покраснел еще сильнее.

«Счастливый, – с тяжким сердцем порадовался Павлик за друга. – Хотя странно, столько вокруг студенток хорошеньких, москвичек, горожанок, а он зачем-то деревенскую выбрал».

Единственный человек, с кем первокурсник мог обмолвиться словом, уходил каждый вечер, и Павлик оставался один. И почему комиссар вытащил именно его? Эх, хорошо быть человеком незаметным, средним, а каково жить, если ты всем сразу попадаешься на глаза? Зато потом тебя почему-то в упор не видят.

И вот Эдик Сыроедов предложил ему мир. Жвачка была не чем иным, как приглашением. Жвачку Павлик пробовал несколько раз, и она ему не понравилась. Пока жуешь и есть вкус – ничего, а зачем дальше жевать – непонятно. И, честно говоря, жвачку он вовсе не хотел, но отказаться ему показалось невежливо.

- Давай, – сказал Павлик и улыбнулся.

Эдик поморщился от его доверчивой улыбки и протянул пакетик. Структуралисты с любопытством за ними наблюдали. Время было послеобеденное, ленивое, когда всем хотелось спать, а не работать, продлить перекур, потянуть минуты, и бригадир это понимал, не торопил людей: пусть отдохнут, отвлекутся. Он с виду только грозный был, а так ничего, свой парень, добрый, и все это знали и этим пользовались. Особенно девчонки.

- У тебя в чуме твоём жвачка-то хоть была?
- Ага.
- Понравилась тебе?
- Понравилась, – зачем-то соврал Павлик.
- Так жуй же скорей, пупсик. Такую резинку ты точно не пробовал. От сердца отрываю.
- От чего, от чего? – заржали структуралисты, всполошив смехом всю бригаду.

Павлик разорвал пакетик и хотел было положить жвачку в рот, но тут кто-то очень зоркий и незаметный, кто всё это время не сводил с мальчика глаз, бросился к другой девушке и что-то быстро ей прошептал, и в следующее мгновение та, вторая, ворвалась в пространство, занятое структуралистами, и закричала, перебивая их смех:

– Ну-ка брось эту гадость! А вы куда смотрите, уроды? Ладно, этот больной на голову, – злобно кивнула она на взъерошенного Сыроеда. – А вы что, тоже шпана дворовая? Блатные? Или одичали вконец, интеллигенты хреновы? Нашли забаву. Ну а ты? Совсем придурочный?

Раскрасневшаяся, злая, смотрела на Павлика невеста бригадира.

– Ты откуда такой свалился? Ничего не слышит.

Непомилуев никогда не подозревал раньше, что злость украшает женщину лучше всякого наряда. Но в этот момент закутанная бабьим платком Алена с ее строгим лицом и тонкими губами показалась ему такой прекрасной, что он прирос к месту, и она это почувствовала.

– Иди. Что встал? – засмеялась. – Господи, как ты жить-то собираешься, дурачок, с такими глазами?

Не с такой рожей, а с такими глазами, сказала, словно узрела в Павлике сокровенное; ему вдруг тепло сделалось, как если бы он нашел среди этого равнодушия и враждебности родную душу.

– Ну всем раздала! – восхитился Данила. – Если бы ты, Ленка, нами командовала, а не твой сержант Пеппер, мы бы это поле за две недели убрали.

– И уберете, – повернулась она к структуралистам. – И учтите. С этого дня мальчик под моей защитой. Работать со мной будешь, – бросила она Павлику, оглядела его с ног до головы и сказала сердито, но негромко, так что он один лишь услышал: – И перестань лицо руками трогать, здесь пыль, грязь, заразу только заносишь, – быстро повернулась и пошла прочь.

Структуралисты промолчали, а Павлик так ничего и не понял, но то, что Алена о нем позаботилась и взяла под свою защиту, ему понравилось и не понравилось одновременно. Понравилось – потому что это была Алена и более красивой, доброй, умной и справедливой девушки в своей жизни он не видал, а не понравилось – потому что как это могло быть, чтобы девушка защищала парня? Вот если бы наоборот; но идти под ее покровительство – всё это было Павлику непонятно и смущало его душу и гордость. А сама Алена показалась ему похожей на пленницу, которую захватил кто-то хищный и злобный, и Павлик должен был ее освободить, а не искать у нее помощи.

Он хотел спросить у отца, как ему быть, но отец почему-то молчал. Он не говорил ни да ни нет, и это молчание Павлика удивило. Оно могло означать одно: разберайся сам.

– Ты хоть знаешь, что это было? – шепотом спросил Дионисий.

– Что?

– Что они тебе дали.

– Ну жувачка. А чего еще?

– Сам ты жувачка. Презерватив это был индийский. Так что скажи девкам спасибо за то, что вовремя углядели, – так бы и проходил весь универ с клеймом: а, это тот самый, который гондон жевал.

Это слово Павлик знал. Он побледнел, а потом почувствовал, как к горлу, к лицу приливает кровь и он собой не владеет.

– Ну-ка, встань! – подошел он к Сыроеду.

Эдик поднялся.

– Очки быстро снял, шляпа.

Даже сквозь загар было видно, как структуралист побледнел. Породистый, избалованный, смазливый, похожий не то на чертика, не то на аристократа, и даже шрамик над вздернутой губой делал его лицо еще более изысканным и надменным. Несколько пар глаз выжидательно смотрели на Непомилуева. Надо было ударить Сыроеду, но Павлик не мог этого сделать. «Если бы я не был таким здоровым. Ну почему я такой большой? И почему они все такие пигмеи?»

И он только сжал кулаки, стиснул зубы и, отвернувшись, пошел на опушку леса переживать.

Судья всегда прав

Когда-то давно, когда Павлик был совсем маленьким, сборная СССР по футболу проиграла на чемпионате мира в Мексике Уругваю. Игра была скучная, счет ноль – ноль, всё шло к дополнительному времени, и вдруг за несколько минут до конца матча мяч выкатился за линию поля и наши футболисты остановились. Голландский судья то ли не заметил, то ли сжульничал, свистка не дал, и уругвайцы, воспользовавшись заминкой, забили гол. Наши потом протестовали, подавали апелляцию, благодаря чему Павлуша теоретически мог бы запомнить это волшебное, так пригодившееся ему впоследствии слово, требовали наказать арбитра, но всё было без толку: в полуфинал прошли уругвайцы.

Непомилуев был вне себя от обиды и ярости. Ему было уже семь с половиной лет, и он хорошо знал, что весь мир настроен против его родной страны, оттого что она самая большая, лучшая и справедливая. И нечестный гол, конечно, засчитали лишь потому, что мстили стране, а значит, она должна была на это ответить. Павлик был убежден, что отец его поддержит. И если бы отец сказал: надо идти за это на войну, – сын сказал бы: да, война! Всё, что делали люди в подземельях Пятисотого, должно было обрушиться на обидчиков и наказать их.

Но отец сказал другое. Он сказал, что надо всегда и во всём соблюдать правила, а правила заключаются в том, что остановить игру на поле может только один человек – судья. И пока он не дал свисток, игра продолжается, даже если мяч сдулся, улетел на трибуну или случилось землетрясение. Судья всегда прав. Если судья не прав, смотри пункт первый.

– Но ведь это же неправда! – воскликнул Павлик, и на глазах у него заблестели слезы. Никогда до этого он не был так разочарован в собственном папе и даже не предполагал, что это разочарование возможно.

– Неправда? – переспросил отец с угрозой.

– Да! – крикнул Павлик. – Судья должен судить справедливо, а этот нарочно сделал наоборот. Если судья несправедливый, то он не судья. Значит, всё неправда, – повторил Павлик с жаром в голосе.

– А хочешь, я скажу тебе, в чем правда?

Отец встал со стула и принялся ходить по комнате – высокий, худощавый, редко улыбающийся человек с жесткими колючими волосами.

– Забивать надо было, забивать! – выкрикнул он, сжимая кулаки. – А не прохлаждаться всю игру. И тогда никакой судья ничего им не сделал бы. Вот за это и были наказаны. И поделом им! Всякая халтура бывает наказана. Вот в чем правда! – И добавил печальней и тише: – Никогда не ищи виноватых, сын. Даже если они действительно есть. И всегда будь самым сильным.

Наверное, он говорил это не только маленькому мальчику, он это говорил самому себе, и у него были резоны так говорить, и Павлик – хоть и неприятные это были мысли, но и прогнать их от себя он не мог – вдруг подумал: возможно, в жизни отца тоже случалось нечто похожее, когда с ним поступали несправедливо, подло, и, наверное, он обижался, переживал, плакал сухими слезами, но у сына вышла своя история, свой счет и свой Уругвай. Вымахал выше и сильнее всех, а что толку, если кровь всё равно дурная, сколько ее ни переливай? Зачем не своей дорогой пошел? Может, поступи он в военное училище, в техникум или в институт попроще, всё было бы хорошо. Был бы свой парень Пашка Непомилуев, с которым и поржать, и выпить, и поработать можно. Были б девчонки, которые не воротили б от него нос. Но его другое увело, соблазнило, совратило, а здесь не сила ценилась, а что-то иное, ему неподвластное, и, значит, прав был отец, прав был полковник Передистов, когда говорил Павлику:

– Ты в этой Москве не был и ее не знаешь. А я был и знаю. Ты как хочешь волен жить. Но мой тебе совет: не езжай за Камень. Не нужно тебе. Знаю, что не послушаешь, по-своему поступишь, но помни: тебе всегда есть куда вернуться. У тебя прописка наша.

«Ни за что не вернусь, – подумал тогда Павлик. – Мать загубили, отца загубили, меня загубить хотите. Не выйдет».

Передистов понял; неглупый был человек.

– Ты что хочешь себе про нас думай, – сказал он, наклонив вперед гладкую, как яйцо, голову. – А только одно знай: родители твои настоящие были люди. Они жизнь не зря прожили. И умерли как герои. А вот как их сын проживет – еще неизвестно.

«Я сумею, я проживу так, чтобы им стыдно не было, – сказал себе Павлик, – но умирать так рано не стану. Я за них поживу, потому что они больше всего этого хотели бы. Чтобы я жил. Потому что если бы у меня был сын и я бы умер, то я вовсе не хотел бы, чтобы он был похожим на меня или прожил жизнь так, как я хочу; нет, мне одно надо было бы – чтобы он был счастлив и жил, как он хочет. А никаких героев мне не надо. Моих родителей не спрашивали, хотят они быть героями или нет. Их героями назначили быть, а они, может, просто жить хотели».

Но не стал он этого полковнику говорить. У Передистова своя правда в жизни, а у Павлика – своя. Но вот только теперь почувствовал он, что не складывается у него жизнь. «Не жалею себя, не смей себя жалеть», – твердил Павлик, а не получалось у него не жалеть, на сочувствие к себе сбивались мысли: «За что они меня так? Что я им плохого сделал? Чем помешал? Уйду я от них, возьму и уйду. Не хотят, чтобы я здесь был, и не надо. Да и как я здесь останусь, если меня спасла от унижения баба?» Так говорил Непомилуев безжалостно самому себе, оставив позади поле и собирая хворост и ломая сухие нижние ветки елей и сосен. «И даже если тебя не ждет слава – а, это тот самый, который гондон жевал, – ты всё равно будешь знать, кому обязан своей честью, а это хуже, чем комиссар, который всех шмонает. И вообще, если покопаться, то получается так, Пашка: кругом ты бабам должен. Так что, уйти мне отсюда?»

«Уйти – это проще всего, уйти – это сдаться, проиграть, – возражал сам себе Павлик, разжигая костер. – А ты останься и победи. А ты возьми и забей им гол». – «Но как их победить? Мне их никогда не догнать. Я приехал из такого далека, о котором они и не слыхивали. Мне так же невозможно прибавить себе их ума, как им – моего роста». – «А ты попробуй. Ты же еще даже не пробовал».

Он смотрел, как разгорается пламя, и по мере того как оно освещало и согревало пространство вокруг, Павлик решал для себя, что ему делать дальше. Ни жить в комнате, ни есть вместе со всей бригадой он больше не будет. Сегодня не пошел на ужин и завтра не пойдет. Принесет себе картошку с поля, в столовой хлеб возьмет, а больше ему ничего и не надо. Работать он будет, это его обязанность, а в комнату не вернется. И к идеологам проситься не станет, потому что – выиграла в мальчишке гордость – ни те ни другие не заслужили того, чтобы он с ними жил.

«Мое дело. Где хочу, там и живу. Я человек вольный. И ничего мне от вас не надо».

Павлик сидел у костра, как когда-то давно с отцом сидел на охоте, сначала сердился, сжимал кулаки, вскакивал, возбужденно бормотал что-то, красный, злой, горячечный, а потом стал смягчаться, напало на него умиротворение, и как-то даже хорошо Павлику стало. Тепло, уютно, безопасно, он сонно щурился на пламя, несколько картофелин сбоку в золу бросил. Подумал о том, что надо будет шалашик соорудить на случай дождя, котелок раздобыть и так пережить в лесу эту картошку. Недельку-другую он вытерпит, а там уж со своими ребятами начнет учиться, и останется в прошлом этот сентябрь как кошмар. «Ничего, переживем, всё будет хорошо, – рассуждал Павлик, – мы и не такое видали».

Дрема напала на него раньше, чем он успел нарубить лапник и подготовить ночлег, и в этой дреме померещилось ему лицо Алены, и Непомилуев подумал, что, если бы его спросили сейчас: вот чего ты, парень, больше всего на свете хочешь, – он бы сказал: хочу, чтобы пришла она, а больше мне ничего не надо. Только смотреть на нее. «Какая глупость, – говорил себе сквозь полудрему Павлик. – Зачем она тебе? Она умна, красива, загадочна. У нее есть ухажер, тебе не чета. Бригадир, атлет, на лошади, а ты? Кто есть ты? Ты же ничтожество, недоразу-

мение, пупсик, да еще к тому же с наглядным дефектом на физиономии». Но не мог ничего поделать с собой Павлик, если нравилась ему Алена, всё в ней нравилось: как она шла, как нагибалась и собирала картошку, как улыбалась или что-то про себя напевала на неведомом протяжном языке, а еще нравилось, что не вызывала в нем грубой чувственности, а только нежность, уважение, умиление, и то, о чем он себе запрещал думать и мечтать, теперь, в одиночестве лесной ночи, подчиняло его себе и словно что-то сулило. «А ты не отчаивайся, мальчик, не опускай руки, ты попробуй, ты отбей ее, если она тебе так нравится, – говорил Павлику кто-то неведомый. – Ты же самый умный у меня, самый сильный, самый красивый, самый здоровый и лучший, ты им всем фору дашь».

Шпана электроугольская

Хрустнули ветки. Непомилуев вскочил, как если бы очутился во всамделишной тайге. Отошел неслышно от костра. Тот, кто приближался, был не зверь – человек. Зверь к огню не пойдет, а человек опаснее всех зверей. И шел этот человек не просто мимо, а к костру. А когда ночью к костру кто-то приходит, а ты сидишь один, то тебе и жутковато, и весело становится: кто этот человек, с кем ты будешь вместе смотреть на пламя, за которым еще чернее и злее становится ночь?

Павлик встал у прищельца за спиной, но тот тоже не промах был, почувствовал другого, обернулся резко:

– А, вон ты где.

Кулаки у Павлика сжались. Вот уж кого он меньше всего хотел бы сейчас увидеть.

– Тебе чего?

– Пойдем домой, – сказал Сыроед негромко. – Характер показал, и ладно.

– Тебя за мной специально послали?

– Не воображай о себе слишком много.

– Тогда вали отсюда.

– Да ладно, Пахом, не злись, – усмехнулся Сыроед, но блестящие глаза его смотрели из-под опущенных полей шляпы печально и серьезно. – Подумаешь, ерунда какая, галошу вместо жвачки ему подсунили. Ну, хочешь меня ударить – ударь. А потом давай выпьем. – Он достал из кармана бутылку водки и бережно прислонил ее к бревну. – Ты не сердись на меня. Аленка права, я ведь и вправду шпана. Я не московский мальчик, как Бодуэн с Бокренком. Я не из Академгородка, как Данила. Я из-под Электроуглей. А это знаешь что такое? Рабочий поселок под Москвой, антенные поля, заводы, сортировочная станция, ребята стенка на стенку, а я хилый, на мне все отыгрываются, вот и научился шутком быть. И фокус этот сначала на мне отработали, и все надо мной ржали потом, а я в драку лез и огребал. Ты прости, меня бес попутал. Он меня часто путает. А ты молодец. Хорошо держишься. Я за тобой все эти дни наблюдаю и честно тебе скажу: хорошо. Они бы так не смогли. Скисли бы. Особенно если ты один и никакой помощи нет.

Сыроед пошевелил ветки в костре, достал одну, ловко прикурил, и Павлику это понравилось: если человек умеет от костра прикуривать и понимает, что здесь спички тратить ни к чему, значит, он не до конца пропащий.

– Ты их ведь тоже понять должен, – говорил Эдик, пуская кольцами дым. – Они бы вечером Би-би-си включили или «Голос Америки» послушали, анекдот бы какой рассказали, поспорили бы про «Солидарность» или Афганистан, а тут ты со своей комсомольской рожей. Ну как тебя такого принять? Они ведь считают, что тебя специально подселили к нам, чтобы ты стучал. И не просто стучал. Этим никого не удивишь. А вот чтобы мы сразу поняли, что ты стукач. Ты не надо, ты мне не отвечай сейчас. Я тебя за это, парень, не осуждаю. Я же знаю, каково это – в университет не поступить. Сам с третьего раза попал. А на нашу структурлистику еще труднее пробиться. И если бы мне предложили, если б сказали: берем тебя, мужик, а ты за это нам время от времени будешь что-нибудь рассказывать... Я тебе честно скажу: не знаю, что б ответил. Человек ведь никогда не знает, как он себя поведет. Думает, что герой, благородный, а потом подлецом вдруг оказывается и сам не понимает почему. А бывает и наоборот...

Он замолчал, потом встал и отошел в сторону, принес несколько сухих веток и бросил их в костер. Пламя взметнулось, и вверх полетели искры. Павлик отодвинулся в сторону, потому что дым повалил прямо на него.

– А у костра всегда кажется, что дым на тебя идет, – заметил Сыроед. – Есть такая песня несуразная «Дым костра создает уют». Интересно, кто ее сочинил, хоть раз у костра сидел?

Он открыл бутылку и протянул Непомилуеву:

– Будешь? А я выпью. А может, ты и не стукач никакой. Иногда ведь наговаривают на людей. Кто тебя знает? Это уж ты сам с собой разбирайся. Да и какая мне разница? У тебя своя жизнь, у меня своя. Встретились на этом поле случайно, а дальше каждый своей дорожкой пойдет. Но раз уж встретились, я тебя знаешь что, Павел, попрошу: ты всё-таки выпей со мной. А то ты меня как будто презираешь.

Павлик помедлил и отпил из бутылки. Совсем чуть-чуть. Потом пошевелил тлеющие угли, выкатил оттуда картофелину и протянул Сыроеду:

– Бери.

Вспомнил, как Сыроед протягивал ему днем «жувачку». Сыроед тоже вспомнил, и Павлику показалось, да нет, показалось, конечно, что структуралист покраснел и на глазах у него навернулись слезы. От дыма, наверное.

– Слышь, Пашец, а ты кому-нибудь завидуешь? – спросил Сыроед, помолчав, и подул на картофелину.

– Не знаю, нет, наверное. А зачем?

– Зачем? – задумался Сыроед. – Зависть – сестра соревнования, а следственно, хорошего рода. Так Пушкин сказал. Значит, есть зачем. А в то же время Сальери у него Моцарта из зависти отравил. Какой уж тут хороший, на фиг, род? Противоречие, однако.

Он хлебнул еще из бутылки и стал, обжигаясь, есть картошку прямо с обугленной кожей.

– А знаешь, чья зависть по-настоящему родная сестра? Справедливости. Вот все говорят, что справедливость, мол, хорошая вещь, а несправедливость – плохая. Так? Но ведь и Сальери более всего убивала несправедливость: ну почему не ему, а этому гуляке всё досталось? Это ж несправедливо. Мы оттого завидуем, что не можем несправедливость принять. Почему один родился в семье богатой, а другой в бедной? Почему одного родители любили, другого нет? Почему одни в спецшколах и университетах учатся, а другие в ПТУ идут? И всё это страшно нечестно, неправильно, несправедливо. И все революции от этого, и войны, и мятежи. – Сыроед прихлебывал и прихлебывал из бутылки и пьянел стремительно, радостно, как будто домой возвращался, и Павлику показалось, что ему хочется выговориться, а своим парням он не стал бы этого говорить, постеснялся бы, потому что из-под Электроуглей. А перед Павликом ему неловко не было. – Так что ничего хорошего в справедливости нет. Только я всё равно за справедливость. Такое вот у меня тоже противоречие.

Сыроед поднялся.

– А ты врешь, что никому не завидуешь. Так, Пашка, не бывает. Нету такого человека, чтоб никому не завидовал. И я знаю кому.

– Кому? – глухо спросил Павлик и почувствовал в темноте, как отчаянно краснеет.

– Да хотя бы всем, у кого прыщей нет, – засмеялся Сыроед. – Ладно, не обижайся, это у меня язык злой. Пойдем домой. Поздно уже.

– Я завтра приду.

– Ну как знаешь. Водку оставить?

Через час тара была пуста, пьяненький Павлик сидел у догорающего костра, шевелил угли и, раскачиваясь, твердил первый раз в жизни:

– Я люблю ее, люблю, люблю...

Драка

Ночью он проснулся оттого, что полетел. Вернее, это было не совсем так. Непомилуев полетел оттого, что заснул, въехал из бодрствования в сон, как в полет, и физически его ощутил. Не бег, не плавание, не прыжок, а полет, и его тело обрело возможность двигаться по воздуху, то поднимаясь, то опускаясь. Павлик взлетел с помощью вдоха, а перемещался с помощью мысли. Такое бывало с ним прежде, но уже давно не возвращалось, и он скучал по этим снам и гадал: что надо сделать, чтобы опять полететь? Говорят, что человек летает во сне, когда растет, но Павлик первый раз полетел, когда уже больше не рос, упершись в свои сто девяносто два сантиметра, и лежал в реанимации. Наверное, потому что само слово «летальный исход», которое странным образом пробилося в его сознание, не испугало, а утешило его. Он понял всё очень просто и буквально: «летальный» – от слова «летать». Наверное, так оно и было: когда человек умирает, он улетает. Так улетела когда-то Павлушина мама, а потом, несколько лет спустя, подведя сына к университетской двери, за которую ему самому не было хода, отправился отец.

Павлик ждал этих летальных или летучих снов, но никогда не мог их предсказать, они были противоположностью тем нечистым сновидениям, которые мучили его и искушали быстро растущую плоть. Они давно не приходили, эти летящие сны, и он их позабыл, и теперь парил над землей, и видел всё очень отчетливо: поле, которое они убирали, окружавший его лес и полянку, где несколько дней назад он разводил костер, разговаривал с Сыроедом, а потом сидел до утра, тоскуя об Алене; он поднялся чуть выше и увидел дорогу в усадьбу, по которой проехала машина. Сначала он управлял своим телом не слишком уверенно, потому что подзабыл, как это делается, и боялся, что упадет, но потом вспомнил, освоился, и более всего ему понравилась найденная им мера высоты, на которой летит над тайгой вертолет или редкая птица. Вот и Павлик превратился в ночную птицу и ловил восходящие потоки воздуха. Он вспомнил, как однажды Алена под большим почему-то секретом прочитала ему стихотворение про ястреба, который забрался так высоко в небо, что не смог вернуться. Непомилуев, по обыкновению, не запомнил ни названия стихотворения, ни имени поэта, но сама эта история его поразила, потому что он испытывал в своих летучих снах черту, которую нельзя переступать, и удивился тому, что это знал кто-то еще кроме него и сумел так точно описать. И, словно боясь к той черте приблизиться и случайно ее пересечь, Павлик стал снижаться, тяжелеть и не заметил, как спустился на землю.

Луна, нагая и чистая, встала во весь рост и была светом в окно. Парни спрятали головы под одеяло и спали так тихо, что Павлик испугался: а вдруг они замерзли или угорели, – и шепотом позвал:

– Мужики!

Никто не отозвался. Павлику стало еще страшнее.

– Мужики! Вы спите?

За спиной у Павлика скрипнула кровать. Резко откинув одеяло, поднялся Бокренок. Он спал полностью одетый и даже в ботинках, чтобы утром не тратить время на одевание. Маленький волосатый человек открыл глаза, посмотрел на Непомилуева, как сомнамбула, ничего не сказал и снова нырнул под одеяло. Павлик облегченно вздохнул и подумал, что надо бы подбросить угля в остывающую печь, но прежде решил сбегать во двор.

Услышав его, тихо заржала привязанная к плетню лошадь. Павлик с обидой поглядел на нее и чертыхнулся. Покалечить ее, что ли? Но лошадь была не виновата, и Павлику она, очевидно, сочувствовала и, может быть, даже не возражала бы против того, чтобы он отбил у бригадира Алену. А на улице в лунном сиянии перед несчастным часовым проходила великолепная ночь. Непомилуев смотрел на луну и видел, как она плывет. Это было именно движение

луны по небу, а не облаков сквозь нее. Павлик это понял, потому что заметил луну возле верхушки ели и увидел, как она сдвинулась от нее на небольшое расстояние. Потом еще, еще – это было идеальное, как в учебнике физики, равномерное движение тела, которому ничто не мешало. Странно, но никогда прежде он этого движения не замечал, хотя столько раз смотрел на луну в тайге, а теперь вдруг увидел. И снова, как тогда с гусями, он вдруг поймал себя на ощущении, что нет ничего более красивого, но теперь не дневного, а другого, ночного мира, и деревья, дома, водонапорная башня, отбрасывающие тени, – всё это было так прекрасно, как если бы Павлик долго отсутствовал дома, а теперь вернулся. Он поднялся на цыпочки и обнял луну, которая по-прежнему равномерно, равнодушно плыла в холодном небе от одной верхушки елки к другой, но плыла очень низко, гораздо ниже, чем залетевшая за третье небо и не сумевшая вернуться неосторожная птица.

В хрупкой осенней тишине раздался скрип. Непомилуев повернул голову и увидел, как в дальнем углу усадьбы, там, где находился лазарет с двускатной крышей, на миг возникла и погасла узкая полоска света, затем щелкнул выключатель и вышли двое. Сердце у Павлика больно-больно сжалось, и он застыл в лунной тени от раскидистого дерева, больше всего боясь, что его заметят. Земля была твердой и туго натянутой, как барабан. Звук приближающихся шагов становился всё отчетливее, двое быстро шли по сухой ночной траве, но, когда они проходили мимо, не удержавшийся посмотреть в их сторону Павлик с ужасом и ликованием обнаружил, что с бригадиром была не Алена, а другая, плотная, круглолицая, с двумя нелепыми косичками и пухлыми губами девочка. Павлик знал ее плохо, потому что она работала не в поле, а на кухне.

– Не оборачивайся, Ромашка, я тебя догоню, – сказала девочка и присела на корточки под деревом.

Непомилуев непроизвольно дернулся и выскочил из тени. Девчушка вскрикнула, но нисколько не смутилась, а насмешливо посмотрела на Павлика.

– Ты чего не спишь, боец? – вполголоса выругался Богач. – Иди до комнаты живо.

Павлик быстро повернулся и пошел, чтобы только не видеть этого предательства, а в спину ему ударило шипящее:

– Скажешь Ленке – уши пообрезаю!

Он не успел ни о чем подумать, как одним прыжком подскочил к сержанту и вмазал ему по физиономии. Этот был ему парой, с этим драться было не зазорно. Роман удара не ожидал, пропустил, но и удар был не очень сильный, скорее пощечина, оскорбление. А потом началось серьезное дело. Сначала махали кулаками, но не попадали, и тогда некрасиво облапили друг друга и завопили молча, стараясь никого не разбудить. Девчонка хотела завизжать и позвать на помощь, но сообразила, что делать этого не надо, засунула в рот косичку и тоже молчала. Было что-то неестественное в том, как двое парней катались и пыхтели под взглядом надменной луны. Только лошадь по-прежнему смотрела на обоих сочувственно. Она устала и хотела, чтобы ее отвели наконец на конюшню, но два человека никак не могли выяснить, кто из них сильнее. Рома был опытнее, но большинство его драк было с пьяными посетителями бара «Дверь в стене» на Тургеневской, и с настоящим соперником он встречался нечасто, а Павлик был моложе и злее. И Павел был прав, а Роман нет. Они оба это понимали, и сержант уступал, потому что досада всегда проигрывает ярости, а неправда – правде.

– Всё, хватит, – прохрипел прижатый к земле бригадир. – Отпусти меня и иди спать.

Наутро Роман вел себя как ни в чем не бывало, и Алена была веселее обыкновенного, а Павлик смотрел на нее так, как если бы ей поставили безнадежный диагноз, о котором она не знает, и всё казалось ему скучным, тяжелым. Или ему это приснилось? И не было лунной ночи, скрипа двери, предательской полоски света и довольного женского лица? Не было этой идиотской драки? Но ведь была же. И что он должен был теперь сделать: рассказать или про-

молчать? Стать доносчиком или предателем? Ведь получалось именно так: если расскажет – донесет, если промолчит – предаст. Какое из двух зол меньше?

«Зачем я это только увидел?»

И впервые за всё это время Непомилуев почувствовал себя усталым. Хотелось, чтобы скорее кончился этот день, чтобы кончилась картошка, он вдруг понял, как измучился за неделю и хочет даже не в университет, а домой, в свой закрытый город, где можно спрятаться за бетонным забором с колючей проволокой от обступавшей его жизни.

«Что мне до всех них? Почему я так привязался к этой Алене? Не сестра же она мне, не невеста? На факультете, если случайно встретимся, не узнает». Почему он так убивается из-за нее и его ранит ее смех, ее веселье? И если она такая необыкновенная, то что нашла в этом самовлюбленном красавчике, который сам не понимает, как он смешон на своей совхозной кобыле? И что можно сказать про человека, променявшего Алену на толстогубую гнусавую девку?

И тогда ты меня полюбишь?

– Не знаю, а мне нравится здесь. Тут всё очень понятно и просто. Вот грядка, вот корзинка. Иду и собираю, и больше никому от меня ничего не надо. У нас в группе половина девчонок достали себе липовые справки. А здесь Ромка мог бы найти мне работу почище, но я не захотела. А вернешься в Москву – там Катя капает: давай пиши, не так пишешь, не о том, исправляй, переделывай. Тут ты недоработала, там недочитала, здесь недовычитала.

– Катя – это кто?

– Катя – это Катя. Это факты языка и факты интерпретации фактов языка, и эти вещи надо уметь различать. В последний раз говорит мне: нет в русском языке сослагательного наклонения. Это только интерпретация факта: соединения формы глагола, оканчивающегося на «эл», и частицы «бы». Понимаешь?

– Нет, – честно сказал Павлик, но самое скверное заключалось в том, что в душе у него сгушалось и уплотнялось, всё вернее определялось чувство, что он никогда и не будет это понимать. И может быть, картошка – то единственное, что он на этом факультете осилит и не осрамится, и дана она ему для того, чтобы он это понял и не смешил людей понапрасну. И его для того лишь и взяли, чтоб помог урожай убрать, а потом – ступай, парень, свободен.

– А здесь говорят люди на этом языке и не думают, почему они так говорят. А скажи им, что кто-то деньги получает, изучая, как они говорят, могут и врезать. Мне перед ними неловко. Не за них, за себя. Две недели назад, когда тебя еще не было, парни местные приезжали. На мотоциклах, человек пятнадцать шобла завалилась. С девчонками желаем познакомиться. И вот они сидят, матерятся, выпендриваются, уходить не хотят, а ведь всё понятно: скучно им. И хочется себя показать, чтобы на них внимание обратили, а кому они тут интересны? И они это понимают и еще наглей и злей от обиды становятся. А мы своих мальчишек еле сдерживаем, нам только драки не хватало. Нас потом успокоили: это, говорят, еще ничего. Два года назад пьяный мужик на тракторе приехал, крыльцо разворотил. А еще был раз, когда парень прямо на лошади в зеленый домик въехал. Въехать-то он въехал, а развернуться в коридоре лошади негде. И двери в комнатах никто открыть не может. Врут, наверное, – засмеялась она. – А я всё равно рада, что это узнала. Чтобы иллюзий никаких. Ну да, конечно, без душа плохо, но ходим два раза в неделю в баню к Бабалу. Баня грязная, щелястая, чуть теплая, с земляным полом, в ней не попаришься, однако помыться-то можно. Да и Леша в чем-то прав. Ну вот что, так люди живут, почему мы должны от них отгораживаться и нос воротить? Вот Бабал...

– Кто такой Бабал?

– Кто такая. Баба Алла. Вообще-то она не баба, а совсем не старая и, по-моему, очень душевная одинокая женщина. Выпить любит, песни спеть. Она их много знает. Людочка с фольклора к ней ходила песни записывать. А Бабал хитрая такая, сказала, что, если Людка с ней не выпьет, ни одной песни не споет. Людочка до этого капли в рот не брала, а тут пришлось ради науки выпить. Бабал, пока Людочку не напоила, не уgomонилась. Мы вечером выходим с Ромочкой – глазам не верим: Людмилка идет никакая, магнитофон в руках из последних сил сжимает. Упала на кровать, полночи ее тошнило, а на следующий день сидела зеленая, песни расшифровывала. А половина оказалась из телевизора. Людочка этого не знала, потому что телевизор вообще не смотрит. Мы ей пели хором:

Девочка Милаша по реке плыла,
Ручками махнула и на дно пошла.
Аааааааа-аааааааа,
Заманалась долго плыть.

Она засмеялась:

– Ты петъ любишь? А танцевать? Я веселиться люблю, а скорбных да к тому же скрытных, тревожных и конфузливых мальчиков не люблю. И если ты хочешь, чтобы мы стали друзьями, то изволь быть со мной откровенным. Ты чего от жизни хочешь?

«Тебя, – хотел сказать Павлик, – потому что ты достойна другого человека». Но стиснул зубы и промолчал, ибо не был уверен в том, что он и есть такой человек. И только когда пере-сыпал картошку из ведра, а Алена держала мешок, чтобы ему было удобнее, и выбившиеся из-под платка ее светлые волосы касались его лица, Павлик подумал, что сейчас умрет от счастья. И она это почувствовала и как будто помедлила. Может быть, на секунду дольше, чем следовало.

– Какой же ты еще маленький, – сказала с досадой. – Нашел бы какую-нибудь девочку, ухаживал бы за ней несмело, что-нибудь ей приятное рассказывал, за ручки взявшись, ходил бы. Глупости все ее выслушивал и млел бы от счастья. Не на тех ты заглядываешься, дурачок. Только вот жаль, нет тут такой девочки. А то бы я давно тебя с ней познакомила. Правда-правда. Так о чем ты мечтаешь?

– Я хочу детей.

– Что? – Она посмотрела на него изумленно, и Непомилуеву показалось, что по ее зеленым глазам пробежала тень и детское лицо на мгновение стало взрослым и грустным. – Да ведь ты же еще сам ребенок!

– Значит, они мне будут ближе и мы скорее с ними подружимся.

– А как ты собираешься учиться и содержать семью?

– Не знаю, придумаю что-нибудь, – сказал Павлик беспечно. – Мне кажется, я легко смогу деньги зарабатывать. Это несложно.

– Да ну? – усмехнулась она.

– Ну да, – ответил Павлик так уверенно, что в глазах его собеседницы мелькнуло что-то уважительное, но тотчас рассеялось, когда он понес свою обычную чушь: – А еще я хочу, чтобы наша страна стала больше. Я когда смотрю на карту, то думаю: нам надо присоединить к себе Швецию и Иран.

– Зачем? – опешила Алена.

– Иран, – заговорил Непомилуев деловито, – чтобы всё Каспийское море было наше. А Швеция на тигра похожа, и нам ее не хватает, чтобы наша карта была еще красивей.

– Красивей.

– Красивей, – повторил Павлик послушно. – А еще нам нужны острова в океанах. У нас очень мало своих островов. Ну то есть не очень мало, конечно, – задумался он, – но надо, чтобы было больше.

Алена остановилась и посмотрела на него:

– Ты в детстве в ножички не наигрался, мальчик? У нас своей земли столько, что мы с ней чего делать не знаем. Куда нам другая?

– Вот увидишь, наши дети не успеют вырасти, – воскликнул Павлик, – а в СССР войдут новые страны, на нашем гербе появятся новые ленты на новых языках, и мы станем всех защищать до тех пор, пока у нас совсем не останется врагов.

– Ну уж это дудки, – возразила Алена. – Я такого будущего не желаю. Я вообще хочу отсюда уехать.

– Куда?

– А куда угодно. Лишь бы отсюда. Но больше всего – в Испанию. В школе у нас был английский, и я учила тексты про Лондон. В университете – испанский, и я зубрю тексты про Мадрид и Гранаду, но мне иногда кажется, что все эти города – обратная стороны Луны. Они есть, и их нет. А я не хочу прожить всю жизнь за стеной! Я когда представляю, что где-то есть Париж и там сейчас люди кофе на бульварах пьют, каштаны едят, а в Италии, я читала про это

в «Ровеснике», в ночных барах Вивальди слушают, меня знаешь какая тоска и зависть берет? Я себя тогда как эти мальчишки несчастные деревенские чувствую. За что нас тут заперли? Чем мы провинились? Я хочу мир увидеть.

Платок у нее сбился, волосы растрепались, рассыпались по куртке – она единственная из девчонок ходила не в телогрейке, а в красивой заграничной куртке и в настоящих американских джинсах. Павлик спросил ее однажды, откуда у нее джинсы, которые нельзя было даже в Пятисотом купить, и зачем она их в поле носит, если это такая ценная вещь. «А ты смотри какой, оказывается, практичный, – засмеялась Алена. – Девушкам такие вопросы не задают».

– Платок одень, – сказал он заботливо. – Простудишься.

– Надень. Сколько раз я тебе говорила: надеть одежду, одеть Надежду.

– Надень. Не знаю, а я в Испанию точно не хочу. Когда армейцы поехали в семьдесят втором играть в Севилью, я так переживал, что их там могут убить франкисты. Может, это и глупо, но всё равно я знаю, что у нас лучше, – добавил он упрямо, – и никто меня в этом не переубедит.

– Послушай, Паша, а ты уверен в том, что люди, которые там живут – ну где-нибудь в Швеции или Иране, – не думают точно так же, как ты? Ну, что у них лучше всего?

– Конечно нет! – воскликнул Павлик. – А если они так думают, то это ошибка. Если они до сих пор не хотят к нам в СССР, то лишь потому, что не знают, как это прекрасно – быть в СССР.

– А почему же тогда те, кто уже в СССР, мечтают отсюда сбежать?

– Кто это мечтает? – возмутился Непомилуев.

– Да кто угодно. Если бы загранпаспорта давали, полстраны бы завтра уехало.

– Это неправда! – крикнул Павлик, и так обидно ему стало, что именно Алена эти ужасные слова говорит. Он от возмущения сжал кулаки и даже укусил себя за большой палец, чтобы сдержаться и не закричать.

– Правда-правда. А прибалты все до одного хотят, – добавила она мстительно, – да еще со своей землей и морем.

– Ты откуда знаешь? – захлебнулся Павлик.

– Я литовка по отцу. Эляна. И попробуй расскажи у нас в Литве или в Эстонии кому-нибудь про твой СССР. Засмеют либо побьют. А чехословаки в шестьдесят восьмом?

Про прибалтов – нет, а про чехословаков Непомилуев знал. Отец рассказывал, когда мама еще была жива. Это случилось после того, как сборная СССР, только на этот раз по хоккею, выиграла чемпионат мира в Праге, и, когда зазвучал советский гимн и взметнулось надо льдом красное полотнище с серпом и молотом, трибуны вдруг засвистели. Трансляция была прямая, и никак этот свист убрать было нельзя.

«А чегой-то они хулиганят? – удивилась мама. Она любила сидеть рядом с отцом и, чтоб не терять времени, шила. – Они же союзники наши». – «Шестьдесят восьмой год простить не могут». – «А может, и не надо нам было туда лезть?» – спросила мама, не отрываясь от шитья. «Если бы не мы, Маша, туда бы западные немцы свои войска ввели. Мы их на самую малость опередили».

Павлик не стал этого Алене говорить, потому что секрет, как и всё, что он от отца слышал. Он помолчал, а потом поднял на Алenu глаза с укором:

– Там наших солдат сотни тысяч в войну полегло.

– И поэтому мы имеем право их сегодня насильно удерживать? Знаешь, мне рассказывали девчонки из чешской группы, что у чехов есть слово «позор». – Алена присела (и тут Павлик не знал, как правильнее сказать, «на ведро» или «в ведро» – она никогда его не переворачивала, когда садилась, – это чтобы не застудиться, пояснила однажды, – и он покраснел и отвел глаза, хотя сердце у него перехватило от жалости и нежности к хрупкому женскому устройству) и вытянула ноги. – С ударением на первом слоге. Оно значит «внимание, осто-

рожно». Например, «позор, гололед», «позор, туман». А когда на Прагу шли советские танки, то солдаты подумали, что это им позор, и все столбы с дорожными знаками посшибали.

– Солдаты не виноваты, что им не объяснили, – заступился за своих Павлик. – И мы всё правильно сделали. А они просто глупые и неблагодарные. Мы самая великая страна в мире, и они обязаны это признавать.

– Да ты просто империалист какой-то, – засмеялась Алена, – но по крайней мере для нашего факультета это оригинально.

– Империалисты в Америке живут, – обиделся Непомилуев. – А еще во Франции и в Голландии. А мы никого завоевывать не собираемся. Мы человечеству дорогу тропим. Я когда вижу наш флаг, когда слышу наш гимн, у меня мурашки по коже бегут.

– Хорошо, Паша, пусть бегут твои мурашки, – не стала спорить Алена, – только ты, пожалуйста, никому этого не говори.

– Почему?

– Потому что здесь это не принято, – произнесла она таким тоном, что он даже не стал спрашивать дальше. Только удивился: почему сначала она говорила ему, что не любит в людях скрытности, а теперь сама же к ней призывает?

Но ему всё равно хотелось про себя побольше рассказать, довериться, и, если б не обязательство перед Пятисотым молчать, он бы так и сделал. Только про разговор в кабинете деканши рассказал.

Алена хохотала, слушая про нянечку и про даму с блестками, а потом вдруг задумалась.

– Странная история. Очень странная. Семибратский меня не удивляет. Он, конечно, никакой не либерал, а баламут. Три года назад попросил, чтобы ему разрешили провести эксперимент. Сел вместе с абитуриентами вступительное сочинение писать. Схлопотал неуд. Разозлился и теперь везде, где можно, поперек приемки идет. Но вот Мягонькая... Написать задним числом четыре апелляции и все их удовлетворить, поднять каждую оценку сразу на два балла – это слишком серьезное дело. И абсолютно невозможное. Это же никому потом не объяснишь, зачем ты так сделал. Но потому ничего и не предъявишь.

– Чего не предъявишь? – не понял Павлик.

– Да мало ли что, – ответила Алена уклончиво. – Вступительные экзамены – штука мутная. Бывает, что сочинение просто исчезает.

– Куда исчезает?

– А в никуда. Если сочинения нету, за него обязаны поставить пятерку. Иногда этим пользуются, когда надо кого-нибудь особо выдающего провести. – Она снова испытующе посмотрела на Павлика и покачала головой. – Да нет, был бы ты блатной, тебя бы как-то иначе поступили.

– Я не блатной! – вскинулся он оскорбленно.

– Ты суперблатной, – засмеялась Алена. – Так, как ты, сюда еще никто не попадал, и это совершенно в Музином стиле. Она театралка и любит из всего спектакли устраивать. И каждый раз новые. Ей по-другому жить на свете скучно. Муза – жутко влиятельная тетка, – произнесла Алена доверительно. – Она в деканах пятнадцать лет сидит, и никто ее скинуть не может, сколько ни пытались. Она хитрая такая, ее ведь даже по партийной линии пропесочить нельзя. А если б и можно было, как скинешь, когда Мягонькая – светило?

– Она? – вспомнил старушку с тряпкой в руках и не поверил Павлик.

– По мягоньковским учебникам несколько поколений выучились. А еще она справедливая очень и честная. Подлостей никому не делала, зато помогала многим. Той же Рае вот помогла.

– Не нравится мне эта Рая, – буркнул Павлик и потемнел лицом.

– Ничего ты, дурачок, не понимаешь. Райка ей как дочь. Она Музе всем обязана. Приехала вроде тебя из тьмутаракани поступать в аспирантуру, никому не нужная, всех боялась,

ничего не знала, отвечала на экзаменах плохо, а Муза ее всё равно взяла, дала защититься, а потом к себе в замы назначила. Мягонькая снобов не любит, выскочек и наглецов. А вот смиренных возвышать любит. Она людей насквозь видит. У нее мозги государственные, как у Екатерины Второй. Если бы такие, как она, страной правили, я, может, и не хотела бы никуда уезжать. Она ведь весь наш факультет прикрывает, и нам здесь позволяют то, что другим нет. И профессоров самых лучших к нам приглашают. И на лекциях услышишь то, что в других местах невозможно вслух произнести. А они, идиоты, этого не понимают. Даже хуже: всё они прекрасно понимают и назло делают. А ты, Пашка, значит, ей чем-то очень понравился, – прибавила она и снова посмотрела на него с интересом. – Не удивлюсь, если она тебя нарочно на картошку отправила. И в комнату эту велела поселить.

– Зачем? – удивился Павлик.

– Ты видел этих мальчиков, ты слышал их разговоры, ты почувствовал, как они к тебе относятся?

– Ну.

– У вас все там говорят «ну»? – рассердилась Алена. – Учись говорить «да». Вообще слушай, как здесь говорят, и перенимай эту речь.

– Но почему я не могу говорить так, как я привык? – возмутился Непомилуев.

– Потому что твоя неправильная речь так же нелепа, как твои красные щеки. Потому что тебе надо обтесывать себя и обтесывать, чтобы сделать то, что ты должен.

– А что я должен сделать? – спросил Павлик еще более осторожно.

– Ты должен их обогнать. Вот этих прежде всего. Тогда с остальными ты справишься.

– Сестра соревнования – зависть, – вспомнил Павлик Сыроеда. – А я никому не завидую, так почему же я должен кого-то обгонять?

– Потому что так задумала Муза.

– Ну и что? Мало ли кто чего задумал. У меня своя голова на плечах.

– Значит, потому, что так хочу я.

«И тогда ты меня полюбишь?» – спросили Павликовы глаза.

«И тогда я буду тебе не нужна», – ответили ее.

Политэкономия социализма

– Не боишься? Мальчонка-то хорошенький, хоть и лопушок.

Роман чертыхнулся. Он был зол после ненужного ночного гулянья с Маруськой, которая сама его увлекла, и он зачем-то согласился покатать ее на лошади и сам не понял, как оказался на жесткой больничной койке. Он был зол после драки с Непомилуевым, о которой рано или поздно всем станет известно: не сам пупс, так Маруська проболтается, а скорее всего, уже проболталась, и Роме казалось, что девчонки насмешливо шепчутся за его спиной. И вопрос этот нелепый задали не просто так, а потому что все уже всё знали. И эта парочка, не замечающая чужих глаз и наостренных ушей – хотя не замечал-то только Павлик, Алена же всё видела и как будто напоказ от пупса не отходила, – его не столько злила и раздражала, сколько усиливала гнетущее чувство, что он уже раскрыт и всё делается Аленой намеренно, напоказ.

Бригадир не был склонен к самокопанию, но тут на него напало самоедское настроение, и вместо того чтобы гордиться победой: «Ах, какую ты девку отхватил», – шептала ему Маруся, обхватив его полуголыми руками в холодном, пахнущем лекарствами лазарете, – Рома Богач мрачно думал о том, что он оказался тряпкой, и ощущение у него было такое, будто не он отхватил Маруську, но она его. «В сущности, я сам повел себя как баба, – вынес он себе приговор, но тотчас же сочинил и оправдание: – Но не виноват же я, что они сами ко мне липнут». Однако легче ему от этого не стало: чем больше Богач себя оправдывал, тем яростнее корил, а чем сильнее корил, тем живее оправдывал и как разорвать этот заколдованный круг не знал; как вести себя дальше, было тем более непонятно: то ли с Маруськой расстаться от греха подальше, то ли ходить иногда ночами в этот чертов медпункт. Всю свою злобу Роман выплеснул сначала на Кавку, и повар счастливо обомлел, слушая его ругань, а потом на Лешу Бешеного. Если обычно после всех споров и распрей, незакрытых нарядов и счетов он шел с бригадиром на мировую и вечером они усаживались пить, решая все вопросы за бутылкой, то на этот раз Богач взвился. Леша в очередной раз пригрозил Роману, что поле не примет, и потребовал вторичный подбор. Это была скучная, малооплачиваемая работа, и делать ее никому не хотелось. Два бригадира – студенческий и совхозный – стояли посреди земли и на виду у всех пререкались.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.